Энн Эпплбаум

ГУЛАГ

CORPUS

ЛАУРЕАТ ПУЛИТЦЕРОВСКОЙ ПРЕМИИ

“ Эта книга рассказывает обо всем ужасе советского прошлого, о котором надо помнить, как бы ни было ужасно постсоветское настоящее.

Александр Эткинд

Энн Эпплбаум

ГУЛАГ

«Corpus (АСТ)»

2003

УДК 94(47+57)"19"
ББК 63.3(2)6

Эпплбаум Э.

ГУЛАГ / Э. Эпплбаум — «Corpus (АСТ)», 2003

ISBN 978-5-17-085229-1

Книга Энн Эпплбаум – это не только полная, основанная на архивных документах и воспоминаниях очевидцев, история советской лагерной системы в развитии, от момента создания в 1918-м до середины восьмидесятых. Не менее тщательно, чем хронологию и географию ГУЛАГа, автор пытается восстановить логику палачей и жертв, понять, что заставляло убивать и что помогало выжить. Эпплбаум дает слово прошедшим через лагеря русским и американцам, полякам и евреям, коммунистам и антикоммунистам, и их свидетельства складываются в картину, невероятную по цельности и силе воздействия. Это подробнейшее описание мира зоны с ее законами и негласными правилами, особым языком и иерархией. “ГУЛАГ” Энн Эпплбаум удостоен Пулитцеровской премии и переведен на десятки языков. В формате a4.pdf сохранен издательский макет книги.

УДК 94(47+57)"19"
ББК 63.3(2)6

ISBN 978-5-17-085229-1

© Эпплбаум Э., 2003
© Corpus (АСТ), 2003

Содержание

От автора 6
Предисловие 8
Часть первая 26
Глава 1 26
Глава 2 36
Глава 3 52
Глава 4 64
Глава 5 75
Глава 6 89
Часть вторая 107
Глава 7 107
Конец ознакомительного фрагмента. 122

Энн Эпплбаум
ГУЛАГ

© Anne Applebaum, 2003
© Л. Мотылев, перевод на русский язык, 2015
© ООО «Издательство АСТ», 2015
© Издательство CORPUS, 2015

* * *

Посвящается тем, кто поведал о пережитом

В страшные годы ежовщины я провела семнадцать месяцев в тюремных очередях в Ленинграде. Как-то раз кто-то “опознал” меня. Тогда стоящая за мной женщина с голубыми губами, которая, конечно, никогда в жизни не слыхала моего имени, очнулась от свойственного нам всем оцепенения и спросила меня на ухо (там все говорили шепотом):

– А это вы можете описать? И я сказала:

– Могу.

Тогда что-то вроде улыбки скользнуло по тому, что некогда было ее лицом.

Анна Ахматова
Реквием. 1935–1940. Вместо предисловия

От автора

Никакую книгу нельзя, строго говоря, считать произведением одного лица, но эту книгу поистине невозможно было бы написать без практического, интеллектуального и философского содействия многих людей, одни из которых принадлежат к числу моих ближайших друзей, других я никогда в жизни не видела. Хотя благодарность авторам, которых давно нет на свете, может выглядеть не совсем естественно, я хотела бы подчеркнуть особую роль небольшой, но замечательной группы переживших лагеря людей, чьи мемуары я в ходе работы читала и перечитывала. Многие бывшие заключенные оставили глубокие и яркие воспоминания о пережитом, однако неслучайно эта книга изобилует цитатами из Варлама Шаламова, Исаака Фильштинского, Густава Герлинга-Грудзинского, Евгении Гинзбург, Льва Разгона, Януша Бардаха, Ольги Адамовой-Слиозберг, Анатолия Жигулина, Александра Долгана и, конечно, Александра Солженицына. Некоторые из этих людей принадлежат к числу самых знаменитых бывших узников ГУЛАГа. Другие менее известны – но у всех есть одна общая черта. Из сотен мемуаров, которые я прочла, их воспоминания выделяются не только литературным талантом, но и способностью проникать под поверхность повседневного ужаса и выявлять глубокие человеческие истины.

Я также более чем благодарна тем москвичам, что водили меня в архивы, организовывали для меня встречи с бывшими заключенными и одновременно знакомили меня со своими интерпретациями прошлого. Первыми хочу назвать архивиста и историка Александра Кокурина, которому, я надеюсь, когда-нибудь отдадут должное как первопроходцу новой российской исторической науки, а также Галину Виноградову и Аллу Борину, способствовавших осуществлению этого проекта с необычайным рвением. На разных этапах работы большую пользу принесли мне беседы с Анной Гришиной, Борисом Беленкиным, Никитой Петровым, Сусанной Печуро, Александром Гурьяновым, Арсением Рогинским и Натальей Малыхиной из московского “Мемориала”; с Семеном Виленским, председателем общества “Возвращение”; а также с Олегом Хлевнюком, Зоей Ерошок, профессором Натальей Лебедевой, Любовью Виноградовой и Станиславом Грегоровичем, в прошлом работавшим в польском посольстве в Москве. Я, кроме того, чрезвычайно благодарна многим людям, позволившим мне взять у них подробные интервью. Их имена перечислены в отдельном списке в библиографии.

Вне Москвы неоценимую помощь оказали мне многие специалисты, с готовностью согласившиеся отложить все дела и уделить немало времени иностранке, которая иногда появлялась без всякого предупреждения и задавала наивные вопросы о том, чему они посвятили годы исследовательского труда. В их числе – Николай Морозов и Михаил Рогачев (Сыктывкар), Евгения Хайдарова и Люба Петрова (Воркута), Ирина Шабулина и Татьяна Фокина (Соловки), Галина Дудина (Архангельск), Василий Макуров, Анатолий Цыганков и Юрий Дмитриев (Петрозаводск), Виктор Шмыров (Пермь), Леонид Трус (Новосибирск), Светлана Доинисина, директор местного исторического музея в Искитиме, Вениамин Иофе и Ирина Резникова (“Мемориал”, Санкт-Петербург). Особую благодарность хочу выразить сотрудникам Архангельской краеведческой библиотеки. Некоторые из них, помогая мне понять историю региона, потратили целый день – просто потому, что сочли это важным.

В Варшаве огромную пользу принесли мне библиотека и архив центра КАРТА, а также разговоры с Анной Дзенкевич и Доротой Пазио. В Вашингтоне в библиотеке Конгресса мне помогли Дэвид Нордлендер и Гарри Лич. Я чрезвычайно благодарна Елене Дэниелсон, Томасу Хенриксону, Лоре Сороке и особенно Роберту Конквесту из Гуверовского института. Итальянский историк Марта Кравери в огромной мере способствовала моему пониманию истории лагерных восстаний. Разговоры с Владимиром Буковским и Александром Яковлевым прояснили мое представление об эпохе после смерти Сталина.

Я в особом долгу перед Фондом Линды и Гарри Брэдли, Фондом Джона М. Олина, Гуверовским институтом, Фондом Мерит и Ганса Раузинг, а также Джоном Бланделлом из Института экономики за финансовую и моральную поддержку.

Я хотела бы, кроме того, поблагодарить друзей и коллег, дававших мне советы в процессе работы над книгой – советы как практического, так и исторического характера. В их числе – Энтони Бивор, Колин Тербон, Стефан и Данута Вайденфельд, Юрий Моруков, Пауль Хофхайнц, Эмити Шлез, Дэвид Нордлендер, Симон Хеффер, Крис Джойс, Алессандро Миссир, Терри Мартин, Александр Грибанов, Петр Пачковский, Орландо Файджес и, наконец, Радек Сикорский, чей министерский портфель принес очень большую пользу. Особая благодарность – Джорджу Борхардту, Кристине Пуополо, Джерри Хауарду и Стюарту Профиту, просмотревшим книгу на конечной стадии работы.

И напоследок за дружбу, за мудрые замечания, за гостеприимство и хлебосольство я благодарю Кристиана и Наташу Карил, Эдуарда Лукаса, Юрия Сенокосова и Елену Немировскую, у которых я чудесно провела время в Москве.

Предисловие

И за одной чертой закона
Уж е равняла всех судьба:
Сын кулака иль сын наркома,
Сын командарма иль попа…

Клеймо с рожденья отмечало
Младенца вражеских кровей.
И все, казалось, не хватало
Стране клейменых сыновей.

Александр Твардовский.
По праву памяти

Эта книга – история ГУЛАГа, обширной сети лагерей принудительного труда, покрывавшей в свое время Советский Союз во всю его протяженность и ширь, от островов Белого моря до берегов Черного, от Северного полярного круга до равнин Средней Азии, от Мурманска и Воркуты до Казахстана, от центра Москвы до пригородов Ленинграда. ГУЛАГ означает “Главное управление лагерей”, но со временем под этим словом стали понимать не только административный орган, управлявший концлагерями, но и саму советскую систему рабского труда во всех ее формах и разновидностях: “исправительно-трудовые” лагеря, штрафные лагпункты, лагеря для уголовников и политических, женские, детские, пересыльные лагеря и так далее. В еще более широком смысле ГУЛАГ стал означать советскую репрессивную систему в целом – то, что заключенные называли “мясорубкой”: аресты, допросы, перевозку в холодных “столыпинских” или “телячьих” вагонах, подневольный труд, разрушение семей, годы ссылки, раннюю смерть.

У ГУЛАГа была предшественница в царской России – система принудительного труда, действовавшая в Сибири с XVII до начала XX века. Более современную и известную форму ГУЛАГ принял почти сразу же после революции 1917-го, став неотъемлемой частью советской системы. С самого начала революция развязала массовый террор в отношении реальных и мнимых противников, и уже летом 1918 года Ленин потребовал, чтобы “сомнительных” помещали в концентрационные лагеря близ крупных городов. Были арестованы многие дворяне, коммерсанты и другие потенциальные “контрреволюционеры”. В 1921 году в 34 губерниях уже действовало 84 лагеря, главным образом предназначенных для “перевоспитания” этих первых “врагов народа”.

С 1929 года лагеря стали играть новую роль. Сталин решил использовать принудительный труд для ускоренной индустриализации страны и для разработки полезных ископаемых малообитаемого севера. В том же году контроль над сетью советских исправительных учреждений начал переходить к системе госбезопасности, которая постепенно вывела все лагеря и тюрьмы страны из ведения органов юстиции. Лагеря вступили в период бурного роста, которому способствовали массовые аресты 1937 и 1938 года. К концу 1930-х лагеря уже были в каждом из двенадцати часовых поясов Советского Союза.

Вопреки распространенному заблуждению, ГУЛАГ расширялся и позднее, во время Второй мировой войны и после нее, и достиг высшей точки развития в начале 50-х. К тому времени лагеря стали играть существенную роль в советской экономике. Они производили треть всего золота страны, значительную часть угля и леса и многое, многое другое. За годы существования СССР возникло по меньшей мере 476 различных лагерных комплексов, в них входили

тысячи отдельных лагерей, в каждом из которых содержалось от нескольких сот до многих тысяч заключенных[1]. Лагерники работали почти в каждой отрасли хозяйства: заготавливали лес, добывали полезные ископаемые, строили, трудились на фабриках и на полях, проектировали самолеты, пушки – и жили по существу в некой стране внутри страны, почти что в другой цивилизации. ГУЛАГ выработал особые законы и обычаи, особую мораль и даже особый жаргон. Он породил свою литературу, своих злодеев, своих героев и на всех, кто через него прошел, будь то заключенные или охранники, оставил свое клеймо. Спустя годы после освобождения бывшие узники ГУЛАГа нередко узнавали собратьев в случайных прохожих просто "по глазам".

Такие встречи происходили часто: "оборачиваемость" лагерного контингента была высока. Постоянно кого-то арестовывали и кого-то освобождали. Заключенных выпускали, потому что кончался срок, потому что их брали в Красную армию, потому что они становились инвалидами или матерями, потому что их переводили в охранники. В результате суммарное количество заключенных в лагерях обычно составляло примерно два миллиона, но полное число советских граждан, прошедших лагерь по политической или уголовной статье, намного выше. С 1929 года, когда ГУЛАГ стремительно пошел в рост, по 1953-й, когда умер Сталин, согласно самым точным оценкам, какие только можно было сделать, через эту грандиозную систему прошло около восемнадцати миллионов человек. Еще примерно шесть миллионов были отправлены в ссылку, депортированы в казахские степи или сибирскую тайгу. Лишенные права покидать свои поселения, эти люди тоже были подневольными работниками, пусть даже они и не жили за колючей проволокой[2].

Как система массового принудительного труда, включавшая в себя миллионы людей, лагеря исчезли со смертью Сталина. Хотя он всю жизнь считал, что ГУЛАГ имеет решающее значение для экономического роста страны, его политические наследники хорошо понимали, что на самом деле лагеря – это источник отсталости и крайне неэффективный способ хозяйствования. Спустя считаные дни после смерти Сталина его преемники начали демонтировать систему лагерей. Процессу придали ускорение три крупных лагерных восстания и множество более мелких, но тоже опасных инцидентов.

Тем не менее лагеря не исчезли полностью. Они эволюционировали. В 1970-е и в начале 1980-х некоторые из них были переоборудованы и использовались для содержания под стражей нового поколения демократических активистов, антисоветски настроенных националистов – и, конечно, уголовников. Благодаря советским диссидентам и международному движению защитников гражданских прав сведения о лагерях после Сталина регулярно просачивались на Запад. Постепенно эти лагеря начали играть роль в дипломатии времен холодной войны. Даже в 1980-е годы Рональд Рейган и Михаил Горбачев все еще обсуждали лагерную тему. Только в 1987 году Горбачев, который сам был внуком узника ГУЛАГа, приступил к полной ликвидации советских лагерей для политзаключенных.

Но хотя они существовали так же долго, как Советский Союз, и хотя через них прошли многие миллионы людей, подлинная история советских концлагерей была до недавних пор малоизвестна. В некоторых отношениях она малоизвестна и сейчас. Даже приведенные выше сухие факты, хотя большинство нынешних западных исследователей советской истории с ними знакомо, еще не стали частью массового западного сознания. "Человеческое знание, – писал Пьер Ригуло, французский историк коммунистического движения, – накапливается не так, как руками каменщика возводится стена, неуклонно, кирпич за кирпичом. Его развитие, как и его застой или откат, зависит от социальных, культурных и политических условий"[3].

---

[1] См.: *Система исправительно-трудовых лагерей в СССР. 1923–1960*. Справочник. М., 1998.

[2] См. Приложение, где эти статистические данные обсуждаются более подробно.

[3] Rigoulot, Pierre. *Les Paupières Lourdes.* Paris, 1991. P. 1–10.

Могу утверждать, что доныне социальных, культурных и политических условий для знания о ГУЛАГе не было.

Я впервые почувствовала это несколько лет назад в новой демократической Праге, на Карловом мосту – это одна из главных достопримечательностей города. Вдоль моста расположились уличные музыканты и торговцы, на каждом шагу кто-нибудь продавал то самое, что ожидаешь увидеть на лотках в таком живописно-сувенирном месте. Были выставлены картины с видами симпатичных улочек, бижутерия, брелоки для ключей с пражской символикой. Помимо прочего, можно было купить советские военные фуражки, знаки различия, пряжки, а еще значки с Лениным и Брежневым, которые советские школьники в прошлом прикалывали к форме.

Я была поражена. Атрибуты советской власти покупали главным образом американцы и западноевропейцы. Никому из них и в голову не пришло бы носить футболку или фуражку со свастикой. А вот с серпом и молотом – запросто. Мелочь, конечно, но порой в таких мелочах лучше всего проявляются культурные тенденции. Стало яснее ясного: если символ одного массового смертоубийства наполняет нас ужасом, символ другого вызывает у нас смех.

Дефицит отвращения к сталинизму у туристов в Праге отчасти объясняется дефицитом образных представлений о нем в западной массовой культуре. Холодная война породила Джеймса Бонда, триллеры и карикатурных русских из фильмов о Рэмбо, но она не создала ничего столь же масштабного, как “Список Шиндлера” и “Выбор Софи”. Стивен Спилберг (видимо, ведущий режиссер Голливуда, нравится это вам или нет) снял фильмы о японских концлагерях (“Империя солнца”) и о нацистских, но не о сталинских концлагерях. Последние не воспламенили в такой же степени голливудское воображение.

Элитарная культура тоже не проявила к этой теме большого интереса. Репутация немецкого философа Мартина Хайдеггера сильно пострадала от его недолгой поддержки нацизма в то время, когда Гитлер еще не совершил своих главных преступлений. Однако репутации французского философа Жана-Поля Сартра нисколько не повредила его активная поддержка сталинизма в послевоенные годы, когда многочисленные свидетельства о преступлениях Сталина уже были доступны любому желающему. “Мы не состояли в партии, – утверждал он, – и поэтому не считали, что должны писать о советских трудовых лагерях. Если не происходило социологически значимых событий, мы имели право оставаться в стороне от споров по поводу природы системы”[4]. “Как и вам, мне не нравятся эти лагеря, – сказал он Альберу Камю. – Но мне в равной степени не нравится то, как ежедневно играет на этой теме буржуазная печать”[5].

После краха советской системы в чем-то положение изменилось. Например, английского писателя Мартина Эмиса тема Сталина и сталинизма взволновала настолько, что он посвятил ей целую книгу, вышедшую в 2002 году. Его работа заставила других писателей задаться вопросом: почему эту тему так редко затрагивали левые политики и литераторы?[6] В чем-то, однако, умонастроения остались прежними. И сейчас американский ученый может выпустить книгу, где утверждается, что чистки 1930-х годов были полезны, потому что повысили вертикальную мобильность в советском обществе и тем самым подготовили почву для перестройки[7]. И сейчас английский редактор литературного издания может отвергнуть статью на том основа-

---

[4] Цит.: Johnson, Paul. *The Intellectuals*. London, 1988. P. 243.

[5] Цит.: Revel, Jean-FranÇois. *The Totalitarian Temptation*, trans. D. Hapgood. London, 1977. P. 77.

[6] См.: Amis, Martin. *Koba the Dread: Laughter and the Twenty Million*. London, 2002; John Lloyd. *Show Trial: the Left in the Dock* // New Statesman, September 2, 2002. P. 12–15; *Hit and Miss* // Guardian, September 3, 2002.

[7] См.: Thurston, Robert. *Life and Terror in Stalin's Russia, 1934–1941*. New Haven and London, 1996 (Robert Conquest. *Small Terror, Few Dead* // The Times Literary Supplement, May 31, 1996).

нии, что она “слишком антисоветская”[8]. Впрочем, куда более обычная реакция на сталинский террор – скука и безразличие. В одной рецензии на мою книгу о западных республиках бывшего Советского Союза в 1990-е годы говорится: “Здесь свирепствовал убийственный голод 1930-х годов, когда Сталин уничтожил больше украинцев, чем Гитлер евреев. Но многие ли на Западе об этом помнят? В конце концов, смертоубийство было здесь таким… таким обыденным делом, лишенным всякого видимого драматизма”[9].

Все это, конечно, частности: торговля сувенирами, репутация философа, наличие или отсутствие голливудских фильмов на данную тему. Но, взятые вместе, они кое о чем говорят. На интеллектуальном уровне американцы и западноевропейцы знают, что произошло в Советском Союзе. Лагерный рассказ Александра Солженицына “Один день Ивана Денисовича” был опубликован на Западе на нескольких языках в 1962–1963 годах и получил широкое признание. Его основанная на устных свидетельствах история лагерей “Архипелаг ГУЛАГ” вышла, опять-таки на нескольких языках, в 1973 году и бурно обсуждалась. Поистине эта книга совершила в некоторых странах своего рода интеллектуальную революцию, особенно во Франции, где многие левые, прочитав ее, перешли на антисоветские позиции. В 1980-е годы, в период “гласности”, было сделано немало новых разоблачений о ГУЛАГе, и они тоже стали за границей достоянием широкой общественности.

У многих, однако, преступления Сталина не вызывают такого же физического отвращения, как преступления Гитлера. Кен Ливингстон, бывший депутат британского парламента, а ныне мэр Лондона, однажды попытался объяснить мне разницу. Нацизм, сказал он, был “злом”. А советская система – результат “деформации”. Этот взгляд отражает ощущения большого числа людей, в том числе тех, кого нельзя назвать закоснелыми леваками: Советский Союз просто каким-то образом сбился с пути, он не был фундаментально, изначально порочен в таком же смысле, в каком была порочна гитлеровская Германия.

До недавних пор это массовое безразличие к трагедии европейского коммунизма можно было объяснять стечением обстоятельств. В их числе – фактор времени: с годами коммунистические режимы стали не такими страшными. Никто особенно не боялся ни генерала Ярузельского, ни даже Брежнева, хотя оба наделали немало бед. Другая причина – отсутствие надежной информации, подкрепленной архивными данными. Малое количество исследовательских работ на эту тему в течение долгих лет объясняется скудостью источников. Архивы были закрыты. К местам лагерей никого не пускали. Ни они, ни их жертвы не были сняты на кинопленку, как немецкие лагеря и их узники в конце Второй мировой войны. Меньше зрительных образов – меньше понимания.

Но идеология тоже мешала нам понять советскую и восточноевропейскую историю[10]. В 1930-е годы и позднее часть западных левых пыталась объяснить и порой оправдать лагеря и породивший их террор. В 1936 году, когда миллионы советских крестьян уже находились в лагерях или ссылке, британские социалисты Сидней и Беатриса Вебб опубликовали большую книгу о Советском Союзе, где, помимо прочего, рассказывалось, как “забитый русский крестьянин постепенно обретает чувство политической свободы”[11]. Во время московских показательных процессов, когда Сталин по своему произволу отправил в лагеря тысячи

---

[8] Так поступили с автором этой книги в 1994 году. Слово "антисоветская" – прямая цитата из письма редактора. В конце концов в сильно сокращенном виде статья была напечатана в другом периодическом издании – *The Times Literary Supplement.*

[9] *Neither Here nor There* (review of *Between East and West*. New York, 1994) // The New York Times Book Review, December 18, 1994.

[10] Этот вопрос подробно обсуждается в статье Мартина Малиа *Judging Nazism and Communism* // The National Interest, no. 64, Fall 2002. P. 63–78.

[11] Webb, Sidney and Beatrice. *Soviet Communism: A New Civilisation?* London, 1936. P. 31.

ни в чем не повинных членов партии, драматург Бертольт Брехт сказал философу Сидни Хуку: “Чем меньше они виноваты, тем больше заслуживают смерти”[12].

Но даже и в 1980-е годы некоторые исследователи еще рассуждали о преимуществах восточногерманского здравоохранения и о польских мирных инициативах, некоторые левые активисты еще недоумевали, почему поднят такой шум из-за диссидентов, сидящих в восточноевропейских тюрьмах и лагерях. Причина, возможно, в том, что и западные левые, и советские идеологи считали себя последователями Маркса и Энгельса. Лексикон был тоже отчасти общий: народные массы, классовая борьба, пролетариат, эксплуататоры и эксплуатируемые, собственность на средства производства. Последовательно осудить Советский Союз значило до некоторой степени осудить то, что в свое время было дорого многим западным левым.

Не только крайние левые и не только западные коммунисты испытывали искушение оправдывать сталинские преступления в такой мере, в какой никогда не стали бы оправдывать гитлеровские. Коммунистические идеалы – социальная справедливость, равенство – вообще куда более популярны на Западе, чем нацистская проповедь расизма и торжества сильного над слабым. Пусть даже коммунистическая практика очень сильно расходилась с идеологией, интеллектуальным наследникам американской и французской революций гораздо труднее было осудить систему, которая по крайней мере *на словах* походила на их собственную. Может быть, из-за этого люди, которые не сомневались в истинности свидетельств Примо Леви и Эли Визеля о Холокосте, зачастую с порога отвергали свидетельства о ГУЛАГе или преуменьшали их значение. Кроме того, со времен коммунистического переворота к услугам всех желающих была официальная информация о советских лагерях; знаменитая советская книга о Беломорканале была даже переведена на английский. Простым неведением не объяснить тот факт, что западные интеллектуалы предпочитали обходить эту тему.

Западные правые, со своей стороны, осуждали советские преступления, но иной раз методы, которые они использовали, только вредили делу. Человеком, причинившим наибольший вред антикоммунизму, несомненно, был американский сенатор Джо Маккарти. Хотя недавно опубликованные документы показывают, что некоторые его обвинения были справедливы, результат начатого им чрезмерно рьяного преследования “коммунистов” в американском обществе от этого не меняется: в конечном итоге его публичные “суды” над лицами, сочувствующими коммунизму, дискредитировали антикоммунизм, придав ему оттенок шовинизма и нетерпимости[13]. Его нападки послужили делу беспристрастного исторического исследования не лучше, чем высказывания его противников.

Впрочем, не все в нашем отношении к советскому прошлому связано с политической идеологией. Многое здесь – побочный продукт наших все менее четких представлений о Второй мировой войне. Мы сейчас твердо убеждены, что Вторая мировая была во всех ее эпизодах справедливой войной, и мало кто подвергает это сомнению. Мы помним день высадки союзников во Франции, помним освобождение нацистских концлагерей, помним детей, восторженно встречающих на улицах американских солдат. Никто не хочет слышать о том, что у победы была и другая, теневая сторона, что Сталин, наш союзник, расширял свои концлагеря в то самое время, когда освобождались концлагеря Гитлера. Признать, что, насильственно возвращая после войны тысячи русских на родину, где их ждала смерть, и обрекая в Ялте миллионы людей на советское владычество, западные союзники стали пособниками преступлений против человечества, значило бы сделать наши представления о той эпохе не такими безоблачными в нравственном смысле. Никто не хочет думать о том, что мы победили одного убийцу миллионов рука об руку с другим. Никто не хочет помнить о том, как отлично поладили с этим убий-

[12] Цит.: Conquest, Robert. *The Great Terror: A Reassessment*. London, 1992. P. 465.

[13] См.: Klehr, Harvey, Haynes, John Earl, and Firsov, Fridrikh. *The Secret World of American Communism*. New Haven and London, 1995.

цей западные политики. “Я очень симпатизирую Сталину, – признался однажды Энтони Иден, британский министр иностранных дел. – Он ни разу не нарушил слова”[14]. Сохранилось очень много фотографий Сталина, Рузвельта и Черчилля – все трое рядом, все трое улыбаются.

И наконец, делала свое дело советская пропаганда. Например, старания советских властей бросить тень на сочинения Солженицына, представить его сумасшедшим, антисемитом, пьяницей приносили определенные плоды[15]. Советское давление на западных исследователей и журналистов влияло на направленность их работы. В 1980-е годы, когда я студенткой изучала в Соединенных Штатах российскую историю, знакомые отговаривали меня продолжать занятия этим предметом в аспирантуре, ссылаясь на специфические трудности: в то время специалисты, отзывавшиеся о Советском Союзе положительно, получали лучший доступ к архивам и официальной информации, им разрешали дольше оставаться в стране. В противном случае тебе грозило выдворение и прочие профессиональные трудности. И, разумеется, никто из посторонних не имел доступа к каким бы то ни было материалам о лагерях при Сталине и после него. Этой темы просто не существовало, и тех, кто совал нос не в свое дело, живо выпроваживали из страны.

В совокупности все эти объяснения были достаточно убедительны – убедительны в отношении недавнего прошлого. Когда я впервые начала серьезно думать на эти темы (шел 1989 год, социалистическая система рушилась), я сама признала их убедительность: казалось естественным, неизбежным, что я так мало знаю о сталинском Советском Союзе, чья тайная история интриговала своей загадочностью. Теперь, спустя десять с лишним лет, мои ощущения стали совсем иными. Вторая мировая война уже стала достоянием предыдущего поколения. Холодная война тоже окончена, и порожденные ею союзы и международные линии раздела навсегда ушли в прошлое. Правые и левые на Западе теперь спорят о другом. Вместе с тем возникновение новых террористических угроз западной цивилизации делает изучение старых коммунистических угроз еще более важным.

Иными словами, “социальные, культурные и политические условия” теперь изменились, как и условия нашего доступа к информации о лагерях. В конце 1980-х в Советском Союзе эпохи Горбачева материалы о ГУЛАГе пошли потоком. Рассказы о жизни в советских концлагерях впервые стали печататься в газетах. Журналы с новыми разоблачениями выходили огромными тиражами. Возобновились былые споры о цифрах – сколько погибло, сколько было арестовано. Российские историки и исторические общества, и в первую очередь общество “Мемориал” в Москве, начали публиковать исследовательские монографии, истории отдельных лагерей, жизнеописания узников, оценки числа пострадавших, списки погибших. Их усилия вызвали отклик и получили поддержку: в работу включились историки в бывших советских республиках и в странах распущенного Варшавского договора, а немного позднее – и западные историки.

Вопреки многим трудностям это российское исследование советского прошлого продолжается и сегодня. Да, первое десятилетие XXI века очень сильно отличается от последних десятилетий XX века, и история уже не является в России главным предметом внимания и обсуждения; к тому же она утратила былую сенсационность. Большая часть исторической работы, которую ведут российские и иностранные исследователи, – это кропотливая рутина, просеивание тысяч документов, долгие часы на сквозняках в холодных архивах, дни, потраченные на уточнение фактов и цифр. Но эта работа начинает приносить плоды. Неспешно и терпеливо “Мемориал” не только составил первый справочник названий и местоположения всех известных лагерей, но и выпустил ряд новаторских исторических книг и собрал громадный

[14] Цит.: Tolstoy, Nikolai. *Stalin's Secret War*. New York, 1981. P. 289.

[15] См.: Thomas, D. M. *Alexander Solzhenitsyn: A Century in His Life*. London, 1998. P. 489–495; Scammell, Michael. *Solzhenitsyn: A Biography*. New York and London, 1984. Попытка представить Солженицына алкоголиком (Scammell. // P. 664–665) была особенно неуклюжей, поскольку его нелюбовь к спиртным напиткам была хорошо известна.

архив устных и письменных рассказов бывших заключенных. Наряду с другими организациями – Музеем им. А. Сахарова и издательством “Возвращение”, “Мемориал” сделал некоторые из этих воспоминаний достоянием общественности. Российские академические журналы и издательства отдельных организаций тоже начали печатать монографии, основанные на новых документах, и сборники документов как таковых. Подобная работа ведется и в других странах – в первую очередь Центром КАРТА в Польше, но также и историческими музеями в Литве, Латвии, Эстонии, Румынии, Венгрии и некоторыми американскими и западноевропейскими учеными, решившими потратить время и силы на работу в советских архивах.

Работая над этой книгой, я опиралась на результаты их труда, а также на два других типа источников, с которыми еще десять лет назад нельзя было ознакомиться. Во-первых, это поток новых мемуаров, которые в 1980-е годы начали издаваться в России, Америке, Израиле, Восточной Европе и других местах. В этой книге я широко их использовала. В прошлом некоторые исследователи советской истории не слишком склонны были опираться на воспоминания о ГУЛАГе, указывая на то, что советские мемуаристы переиначивали свои воспоминания по политическим причинам, что большая часть мемуаров писалась через много лет после освобождения их авторов, что многие, когда их подводила память, заимствовали сведения друг у друга. Однако, прочитав несколько сотен воспоминаний о лагерях и взяв интервью у двух десятков старых лагерников, я почувствовала, что могу отбраковывать недостоверное, заимствованное и политизированное. Я почувствовала также, что, хотя на воспоминания и нельзя вполне положиться в отношении имен, дат и цифр, они тем не менее служат бесценным источником данных другого рода, в особенности сведений о важнейших сторонах лагерной жизни: об отношениях заключенных друг с другом, о вражде между группами, о поведении охраны и администрации, о роли коррупции и даже о любви в лагерях. Я сознательно почти не опиралась на художественную литературу – исключение составляет проза Варлама Шаламова, чьи рассказы о лагерной жизни основаны на подлинных событиях.

Помимо мемуаров, я старалась как можно шире использовать архивы. Что парадоксально, эту категорию источников многие недолюбливают. Читателю этой книги станет ясно: мощь советской пропаганды была такова, что она сплошь и рядом совершенно изменяла восприятие действительности. Поэтому в прошлом историки были правы, не доверяя официально публикуемым советским документам, которые зачастую сознательно предназначались для сокрытия истины. Но у секретных документов, доныне хранящихся в архивах, была иная роль. Чтобы управлять лагерями, администрация ГУЛАГа должна была вести определенную документацию. Москве необходимо было знать, что происходит на местах, люди на местах должны были получать директивы из центра, велась статистика. Я не утверждаю, что эти архивы содержат абсолютно достоверные сведения, – у бюрократов были свои резоны искажать даже самые обыденные факты, – но если подходить к архивным документам критически, они порой сообщают нам о лагерях то, чего нельзя найти в мемуарах. Самое главное – они помогают понять, зачем создавались лагеря, чего сталинский режим рассчитывал добиться подобными средствами.

Архивы, надо отметить, оказались гораздо более многообразными, чем можно было предположить, они показывают нам лагеря с многих точек зрения. Например, я получила доступ к архиву администрации ГУЛАГа, где хранятся отчеты органов прокурорского надзора, финансовые документы, донесения от начальников лагерей московскому руководству, сообщения о попытках побега, репертуары лагерных самодеятельных ансамблей. Все это находится в Государственном архиве Российской Федерации в Москве. Я также изучала стенограммы партийных собраний и документы из “особой папки” Сталина. С помощью российских историков я использовала некоторые документы из советских военных архивов и архивов лагерной охраны, где содержатся, например, списки вещей, которые арестованным разрешалось и не разрешалось брать с собой. Помимо московских, я получила доступ и к некоторым местным архи-

вам (в Петрозаводске, Архангельске, Сыктывкаре, Воркуте и на Соловках), содержащим сведения о повседневной жизни в лагерях, а также к хранящимся в Москве архивам Дмитлага, чьи заключенные проложили канал Москва – Волга. Повсюду есть материалы о лагерном быте, бланки заказов, личные дела заключенных. Однажды мне показали объемистую часть архива небольшого лагпункта Кедровый Шор, входившего в состав заполярного Интлага, и вежливо предложили ее купить.

В совокупности все эти источники позволяют писать о лагерях по-новому. В этой книге мне уже не нужно было сталкивать версию горстки диссидентов с версией советского правительства. Мне не нужно было искать середину между мнением эмигрантов из СССР и официальным мнением властей. Вместо этого для описания событий я могла дать слово многим несхожим между собой людям – охранникам, сотрудникам “органов”, заключенным разных категорий, отбывавшим разные сроки в разное время. Эмоции и политика, которыми долго была проникнута историография советских концлагерей, не играют в этой книге существенной роли. Главное внимание в ней уделено опыту узников.

Эта книга – история советских концлагерей со времени их возникновения в годы большевистской революции, история их превращения в важную часть советской экономики, история частичного демонтажа лагерной системы после смерти Сталина. В этой книге говорится и о наследии ГУЛАГа: несомненно, порядки и обычаи, царившие в советских лагерях для политзаключенных и уголовников в 1970-1980-е годы, развились непосредственно из порядков и обычаев предшествующей эпохи, и поэтому без последнего периода лагерная история была бы неполной.

В то же время я стремилась дать читателю представление о жизни в ГУЛАГе, и поэтому книга рассказывает о лагерях двумя способами. Первая и третья ее части построены хронологически. Они последовательно описывают эволюцию лагерей и их управления. Вторая часть посвящена лагерной жизни и построена по тематическому принципу. Большинство примеров и цитат в этой части относятся к 1940-м годам, когда лагеря достигли высшей степени развития, однако нередко, нарушая хронологию, я обращалась и к временам более поздним и более ранним. Некоторые стороны лагерной жизни менялись с годами, и я сочла нужным объяснить, как это происходило.

Сказав, что в этой книге есть, я хотела бы теперь сказать, чего в ней нет. Это не история СССР, не история чисток, не история репрессий в целом. Это не история правления Сталина и его Политбюро. Это не рассказ о его карательных органах, чью сложную административную историю я сознательно постаралась, насколько возможно, упростить. Хотя я использовала многое из того, что написали советские диссиденты, зачастую находясь под огромным давлением и проявляя огромную отвагу, эта книга не содержит полной истории движения за гражданские права в Советском Союзе. Она не отдает в полной мере должное отдельным народам и отдельным категориям заключенных – полякам, прибалтийцам, украинцам, чеченцам, немецким и японским военнопленным, которые пострадали от советского режима как в лагерях, так и вне их. Она не исследует в полном объеме массовые убийства 1937–1938 годов, которые большей частью происходили за пределами лагерей, и не исследует уничтожение тысяч польских офицеров в Катыни и в других местах. Поскольку книга рассчитана на массового читателя и не предполагает глубокого знания им советской истории, все эти события и явления в ней упомянуты. Однако невозможно было бы в рамках этой книги отдать им должное сполна.

Может быть, самое важное – что она почти не затрагивает историю миллионов “спецпереселенцев”, которых зачастую лишали свободы в то же время и по тем же причинам, что и будущих узников ГУЛАГа, но отправляли не в лагеря, а в отдаленные поселки для ссыльных, где многие тысячи из них умерли от голода, холода и непосильной работы. Одних – например, кулаков в 30-е годы – ссылали по политическим причинам. Других – в частности, поляков,

прибалтийцев, украинцев, немцев Поволжья, чеченцев в 40-е годы – по причинам национальным. Их судьба в Казахстане, в Средней Азии, в Сибири была очень разной – слишком разной, чтобы можно было рассказать о них в этой книге, посвященной лагерям. Я упоминала об этих людях лишь эпизодически, когда их опыт казался мне особенно близким к опыту заключенных ГУЛАГа или помогающим пролить на него свет. Но хотя их история тесно связана с историей ГУЛАГа, чтобы рассказать ее полностью, понадобилась бы еще одна книга такого же объема. Надеюсь, вскоре кто-нибудь ее напишет.

Хотя здесь идет речь о советских концлагерях, их невозможно рассматривать как изолированное явление. ГУЛАГ рос и развивался в определенное время и в определенном месте, параллельно происходили другие события, и он принадлежит по меньшей мере к трем разным контекстам. Строго говоря, ГУЛАГ, во-первых, принадлежит к истории Советского Союза; во-вторых, к международной и российской истории тюрем и ссылки; в-третьих, к истории особого интеллектуального климата в континентальной Европе в середине XX века, породившего также и нацистские концлагеря в Германии.

Под словами “принадлежит к истории Советского Союза” я имею в виду нечто вполне конкретное: ГУЛАГ не явился в готовом виде из вод морских, в нем отразились нормы существовавшего общества. Если лагеря были мерзкими, а охранники – жестокими, если работали в лагерях из-под палки и кое-как, то причина отчасти в том, что мерзости, жестокости и кое-как выполненной из-под палки работы хватало и в других областях советской действительности. Если существование лагерников было ужасным, невыносимым, нечеловеческим, если смертность среди них была огромна – этому тоже трудно удивляться. В определенные годы жизнь в Советском Союзе была в целом ужасной, невыносимой, нечеловеческой и смертность была высокой не только в лагерях, но и “на воле”.

Разумеется, неслучайно первые советские лагеря стали создаваться сразу же после революции с ее кровью, жестокостью и хаосом. Во время революции, террора и гражданской войны многим в России показалось, что безвозвратно рушится сама цивилизация. “Смертные приговоры выносились произвольно, – пишет историк Ричард Пайпс. – Людей расстреливали без всякой причины и столь же беспричинно выпускали”[16]. После 1917 года вся общественная система ценностей была поставлена с ног на голову: богатство и профессиональный опыт, накопленные в течение всей жизни, стали источником риска, грабеж был объявлен “национализацией”, убийство стало законным способом осуществления диктатуры пролетариата. В этой атмосфере взятие Лениным под стражу тысяч людей по причине одного лишь былого богатства или дворянского титула не казалось чем-то из ряда вон выходящим.

Точно так же высокая смертность в лагерях в определенные годы в какой-то мере отражала события, происходившие по всей стране. Смертность среди заключенных выросла в начале 1930-х, когда во многих регионах Советского Союза царил голод. Она опять выросла во время Второй мировой войны: вторжение Германии стоило Советскому Союзу не только миллионов убитых на полях сражений, оно вызвало эпидемии дизентерии и тифа, а также новый голод как в лагерях, так и вне их. Зимой 1941–1942 годов, когда от голода умерло, возможно, около миллиона жителей блокадного Ленинграда, от нехватки продовольствия погибла и четверть заключенных ГУЛАГа[17]. Лидия Гинзбург в “Записках блокадного человека” писала: “Голод перманентен, невыключаем. Он присутствовал неотступно и сказывался всегда (не обязательно желанием есть) мучительнее, тоскливее всего во время еды, когда еда с ужасающей быстротой приближалась к концу, не принося насыщения”[18]. Читатель увидит, что ее слова зловеще перекликаются с воспоминаниями бывших узников.

---

[16] Pipes, Richard. *The Russian Revolution*. New York, 1990. P. 824–825.

[17] Overy, Richard. *Russia's War*. London, 1997. P. 112 and 226–227; Moskoff, William. *The Bread of Affliction*. Cambridge, 1990.

[18] Гинзбург Л. *Записные книжки. Воспоминания. Эссе.* СПб., 2002. С. 632.

Ленинградцы, правда, умирали дома, тогда как ГУЛАГ раздирал жизни на части, разрушал семьи, отрывал детей от родителей, принуждал миллионы людей жить в отдаленных диких местах в тысячах километров от родных. Тем не менее страшный опыт заключенных вполне выдерживает сравнение с жуткими воспоминаниями "свободных" советских граждан – таких как Елена Кожина, которая была эвакуирована из Ленинграда в феврале 1942 года. В дороге у нее на глазах умерли от голода брат, сестра и бабушка. Приближались немцы. Елена и ее мать шли по степи и видели вокруг себя "беспорядочное бегство. <…> Мир разлетался на тысячи кусков. Повсюду дым и ужасающий запах гари. В степи было нечем дышать, нас точно сдавил раскаленный, закопченный кулак". Хотя Кожина не побывала в лагерях, она пережила ужасный холод, голод и страх, когда ей не было еще и десяти, и воспоминания о них преследовали ее всю жизнь. Ничто, писала она, "не могло заставить меня забыть мертвого Вадика, которого выносили под одеялом, предсмертную агонию Тани и то, как мы с мамой, последние оставшиеся в живых, шли сквозь дым и грохот по пылающей степи"[19][20].

У заключенных ГУЛАГа и остальных жителей СССР было много общего, помимо страданий. Как в лагерях, так и за их пределами можно было увидеть один и тот же подневольный труд, от которого старались отлынивать, одних и тех же тупых и преступных бюрократов, одну и ту же коррупцию, одно и то же злобное пренебрежение человеческой жизнью. Однажды, работая над этой книгой, я описала своему польскому другу лагерную систему *туфты* (создания видимости выполненной работы), о которой пойдет речь ниже. Друг расхохотался: "Ты думаешь, это заключенные изобрели? Весь советский блок занимался туфтой". В сталинском Советском Союзе разница между жизнью по одну и другую сторону колючей проволоки не была фундаментальной, это был всего лишь вопрос степени. Видимо, поэтому ГУЛАГ нередко описывали как квинтэссенцию советской системы, ее наиболее полное выражение. Даже на лагерном жаргоне внешний мир часто называли не "волей", а "большой зоной", более обширной и не такой смертоносной, как "малая зона", но отнюдь не более человечной.

Но если ГУЛАГ нельзя полностью отделить от жизни остальной части Советского Союза, точно так же история советских лагерей составляет неотъемлемую часть долгой, интернациональной, кросс-культурной истории тюрем, ссылки, лишения свободы и концентрационных лагерей. Отправка провинившихся и неугодных в отдаленные места, где они смогут "отдать долг обществу", принести пользу и не будут заражать остальных своими идеями и преступными наклонностями, – практика столь же древ няя, как и сама цивилизация. Правители античного Рима и Греции высылали своих "диссидентов" в дальние колонии. Сократ предпочел смерть такому несчастью, как изгнание из Афин. Овидия отправили в захолустный порт на Черном море. Власти георгианской Британии посылали воров и карманников в Австралию. Французские преступники в XIX веке отбывали срок в Гвиане. Португальцы отправляли свои нежелательные элементы в Мозамбик[21].

Впрочем, в 1917 году вождям Советской России не надо было искать прецеденты в других странах. По крайней мере с XVII века в России действовала своя собственная система ссылки: первое упоминание о ней в российском законодательстве датируется 1649 годом. Ссылку в то время считали новым видом наказания, куда более гуманным, чем смертная казнь, клеймение или нанесение увечий, и к ней присуждали за многие преступления, мелкие и крупные, от пользования нюхательным табаком и гадания до убийства[22]. Ссылку в том или ином виде испытали на себе многие российские мыслители и писатели, в том числе Пушкин, а те, кто не испытал, порой мучительно размышляли о судьбе ссыльных. В 1890 году Антон Чехов,

---

[19] Воспоминания Е. Кожиной опубликованы в переводе на английский. Цитаты даны здесь в обратном переводе. – *Прим. перев.*

[20] Kozhina, Elena. *Through the Burning Steppe: A Memoir of Wartime Russia, 1942–1943*. New York, 2000. P. 5.

[21] См.: Kaczynska, Elzbieta. *Syberia: Najwieksze Wiezienie Swiata (1815–1914)*. Warsaw, 1991. P. 15.

[22] См.: Кеннан, Джордж. *Сибирь и ссылка. Путевые заметки (1885–1886 гг.).* Пер. с англ. Т. I. СПб., 1999. С. 125–128.

уже известный писатель, удивил всех поездкой на Сахалин, где он посетил и описал места заключения и ссылки. Незадолго до отъезда он в письме озадаченному издателю объяснил причины своего поступка:

Из книг, которые я прочел и читаю, видно, что мы сгноили в тюрьмах *миллионы* людей, сгноили зря, без рассуждения, варварски; мы гоняли людей по холоду в кандалах десятки тысяч верст, заражали сифилисом, развращали, размножали преступников <…> но нам до этого дела нет, это неинтересно[23].

Ретроспективный взгляд позволяет увидеть в системе наказания царских времен многое из того, что позднее применялось в советском ГУЛАГе. В частности, как и ГУЛАГ, сибирская ссылка всегда предназначалась не только для преступников. Согласно закону 1736 года, крестьянские общества могли выносить приговоры об удалении из села лиц, “дальнейшее пребывание коих в этой среде угрожает местному благосостоянию и безопасности”. Такого человека лишали имущества, и если он не находил себе пристанища поблизости, его могли выслать в отдаленные края[24]. Об этом законе в 1948 году вспомнил Хрущев, предлагая высылать недостаточно трудолюбивых колхозников (соответствующий указ был издан 2 июня 1948 года)[25].

Практика отправки в ссылку тех, кто просто не вписывался в окружение, была в ходу и в XIX веке. В книге “Сибирь и ссылка” Джордж Кеннан, дядя известного американского дипломата, описал систему “ссылки административным порядком”, которую он наблюдал в России в 1891 году:

Человек может быть невиновен в совершении какого-либо преступления… но если, по мнению местных властей, его пребывание в определенном месте “вредно для общественного порядка” или “несовместимо с общественным спокойствием”, он может быть арестован без ордера на арест, помещен в тюрьму на срок от двух недель до двух лет и затем насильно вывезен в любое место в пределах империи и определен под надзор полиции на срок от одного года до десяти лет[26].

Административная ссылка без суда и следствия идеально подходила, чтобы наказывать не только заурядных нарушителей порядка, но и политических противников режима. Поначалу многие из них были польскими дворянами, протестовавшими против российского владычества над их родиной. Позднее ссылке подвергались представители религиозных меньшинств и члены революционных групп и тайных обществ, в том числе большевики. Самыми известными сибирскими поселенцами XIX века были именно политические ссыльные – декабристы, которых, правда, сослали не административным порядком, а по приговору суда[27]. Другим знаменитым политическим заключенным был Федор Достоевский, приговоренный в 1849 году к четырем годам каторги. Возвратившись, он опубликовал “Записки из Мертвого дома” – самое известное описание жизни каторжников в царской России.

Как и ГУЛАГ, дореволюционная система лишения свободы служила не только целям наказания. Правители России старались использовать заключенных и ссыльных (как уголовников, так и политических) для решения экономической проблемы, стоявшей на протяжении столетий: из-за малонаселенности востока и севера страны России трудно было разрабатывать

---

[23] Чехов А. П. *Письма.* Т. 4. М., 1976. С. 32.

[24] См.: Kaczynska E. P. 15.

[25] Попов В. П. *Неизвестная инициатива Хрущева (о подготовке указа 1948 г. о выселении крестьян)* // Отечественные архивы. 1993. № 2. С. 31–38.

[26] Кеннан Дж. Указ. соч. С. 233.

[27] См.: Kaczynska E. P. 65–85.

свои природные ресурсы. Поэтому еще в XVIII веке людей начали приговаривать к принудительному труду – каторге (от греч. κατείργω – принуждать). Каторга имела в России долгую предысторию. В начале XVIII века Петр Великий использовал крепостных крестьян и взятых под стражу преступников для постройки дорог, крепостей, мануфактур, судов и самой столицы – Санкт-Петербурга. В 1722 году он издал указ об отправке преступников с женами и детьми в Восточную Сибирь на серебряные рудники Даурии[28].

В свое время такое использование Петром принудительного труда считалось большим экономическим и политическим достижением. История сотен тысяч крепостных, работавших на постройке Санкт-Петербурга, оказала громадное воздействие на позднейшие поколения. Многие погибли из-за тяжелых условий, но город стал символом прогресса и европеизации. Методы были жестокими – но нация в целом выиграла. Примером Петра, возможно, объясняется столь рьяное использование каторги его последователями на российском престоле. Без сомнения, Сталин тоже был высокого мнения о его подходе к строительству.

Тем не менее в XIX веке каторга оставалась сравнительно редкой формой наказания. В 1906 году срок отбывало всего около 6000 каторжан; в 1916-м, в канун революции, их было только 28 600[29]. Гораздо большее экономическое значение имела другая категория приговоренных – поселенцы, отправленные в малонаселенные районы страны, выбранные благодаря своему экономическому потенциалу. Только с 1824 по 1889 год в Сибирь было сослано около 720 000 человек. Многие поехали с семьями. Именно они, а не каторжники в кандалах, постепенно заселили необъятные, богатые полезными ископаемыми просторы[30].

Их приговоры нередко были очень суровыми, и некоторые поселенцы завидовали каторжанам. В отдаленных, почти безлюдных местах с неплодородной землей многие умерли от голода, не протянув долгую зиму, или спились от тоски. Там было очень мало женщин – их доля никогда не превышала 15 процентов. Почти не было книг, никаких развлечений[31].

Пересекая Сибирь по пути на Сахалин, Антон Чехов встретил и описал некоторых интеллигентных ссыльных:

> Большинство из них бедно, малосильно, дурно образованно и не имеет за собою ничего, кроме почерка, часто никуда не годного. Одни из них начинают с того, что по частям распродают свои сорочки из голландского полотна, простыни, платки, и кончают тем, что через 2–3 года умирают в страшной нищете…[32]

Впрочем, не все ссыльные влачили тяжкое существование, не все опускались. Сибирь далеко от европейской части России, и тамошние власти порой проявляли большую снисходительность: образованность и хорошее происхождение были в дефиците. Зажиточные ссыльные и бывшие заключенные иной раз создавали большие поместья. У знающих людей возникала медицинская или юридическая практика, некоторые открывали школы[33]. Княгиня Мария Волконская, жена декабриста Сергея Волконского, пожертвовала деньги на постройку театра и концертного зала в Иркутске; хотя формально она, как и ее муж, была лишена дворянского звания, о приглашении к ней на вечер или званый обед мечтали многие, и эти приглашения обсуждались даже в Москве и Санкт-Петербурге[34].

---

[28] Anisimov, Evgeny. *The Reforms of Peter the Great: Progress Through Coercion in Russia*. Armonk, New York and London, 1993. P. 177.

[29] ГАРФ, ф. 9414, оп. 1, д. 76.

[30] См.: Kaczynska E. P. 44–64.

[31] Ibid. P. 161.

[32] Чехов А. П. *Соч.* Т. 14–15. 1978. С. 27.

[33] См.: Kaczynska E. P. 161–174.

[34] См.: Sutherland, Christine. *The Princess of Siberia*. London, 1985. P. 271–302.

К началу XX века система стала менее суровой. Волна тюремных реформ, прокатившаяся по Европе в XIX столетии, дошла наконец до России. Режим для осужденных смягчился, охраняли их уже не так жестко[35]. Поистине для небольшой группы людей, которые впоследствии возглавили российскую революцию, пребывание в Сибири по сравнению с тем, что пришло позже, было если не поездкой на курорт, то все же не слишком тяжелым наказанием. Политические имели больше прав, чем уголовники, и большевикам разрешалось в тюрьме читать книги, пользоваться бумагой и письменными принадлежностями. Серго Орджоникидзе вспоминал, что, сидя в Шлиссельбургской крепости, он прочел Адама Смита, Рикардо, Плеханова, Уильяма Джеймса, Фредерика У. Тейлора, Достоевского, Ибсена и других авторов[36]. Большевики в тюрьмах неплохо питались, прилично одевались и даже могли заботиться о прическах. На фотографии Троцкого, сделанной в 1906 году в Петропавловской крепости, на нем очки, костюм, галстук и рубашка с безукоризненно белым воротничком. Местоположение выдает лишь глазок в двери позади него. Другой снимок, сделанный в 1900-м в восточносибирской ссылке, показывает его в меховой шапке и шубе, в окружении других мужчин и женщин, тоже очень добротно одетых и обутых. Полстолетия спустя в ГУЛАГе такой гардероб сочли бы роскошью.

А если жизнь в царской ссылке все же становилась слишком неприятной, всегда был путь к спасению. Сталина арестовывали и ссылали четыре раза, и трижды он бежал: один раз из-под Иркутска и дважды из-под Вологды, из тех мест, которые впоследствии покрылись сетью лагерей[37]. В результате его презрение к “беззубости” царского режима не знало границ. Его российский биограф Дмитрий Волкогонов сформулировал это так: “Можно было не работать, сколько угодно читать и даже бежать”[38].

Так благодаря опыту сибирской ссылки большевики получили образец для подражания и сделали вывод о необходимости чрезвычайно жесткой карательной системы.

Если ГУЛАГ – неотъемлемая часть как советской, так и российской истории, то он неотделим и от истории Европы: в XX веке Советский Союз не был единственной европейской страной, где утвердился тоталитарный строй и возникла система концлагерей. Хотя сравнение советских и нацистских лагерей не является задачей данной книги, полностью обойти эту тему невозможно. Две системы были построены примерно в одно время и на одном континенте. Гитлер знал о советских лагерях, Сталин знал о Холокосте. Некоторые люди побывали и в тех, и в других лагерях и описали их. В своей основе сталинская и гитлеровская системы родственны между собой.

Они родственны прежде всего потому, что нацизм и советский коммунизм родились из варварского опыта Первой мировой войны и российской гражданской войны. Индустриальные способы ведения боевых действий, широко использовавшиеся в обоих конфликтах, вызвали в то время сильнейший интеллектуальный и художественный отклик. Хуже замечено – не миллионами жертв, конечно, они-то заметили это хорошо – широкое распространение индустриальных способов лишения людей свободы. С 1914 года обе воевавшие стороны сооружали по всей Европе лагеря для интернированных и военнопленных. В 1918-м на территории России находилось 2,2 млн военнопленных. Создание этих и более поздних лагерей стало возможным благодаря новым технологиям массового производства огнестрельного оружия и колючей про-

[35] См.: Adams, Bruce. *The Politics of Punishment: Prisoner Reform in Russia, 1863–1917*. DeKalb, IL, 1996. P. 4–11.

[36] См.: Волкогонов, Дмитрий. Сталин: триумф и трагедия. Кн. 1. С. 43.

[37] См.: Bullock, Alan. *Hitler and Stalin: Parallel Lives*. London, 1993. P. 28–45.

[38] Волкогонов Д. Указ. соч. Кн. 1. С. 43.

волоки. Некоторые из первых советских лагерей были сооружены на месте лагерей для военнопленных Первой мировой войны[39].

Советские и нацистские лагеря родственны еще и потому, что и те и другие принадлежат к более обширной истории концлагерей, начавшейся в конце XIX века. Под словом “концлагерь” я имею в виду лагерь, предназначенный для содержания людей не за то, что они сделали, а за то, кем они являются. В отличие от лагерей для уголовных преступников или военнопленных, концлагеря создавались для определенных групп гражданских лиц, не совершавших преступлений, – для “враждебных”, “социально опасных” элементов или для тех, кого из-за национальности или предполагаемой политической ориентации считали опасными для общества или чуждыми ему[40].

Если следовать этому определению, то первые концлагеря в современном смысле возникли не в Германии и не в России, а в 1895 году на Кубе, которая была тогда колонией Испании. В том году, пытаясь положить конец череде восстаний на острове, королевская Испания начала проводить в жизнь политику “сосредоточения” *(reconcentración),* целью которой было согнать кубинских крестьян с земли и “сосредоточить” их в лагерях, лишая тем самым повстанцев продовольствия, укрытия и поддержки. К 1900 году от испанского слова уже было образовано английское, которое использовалось для обозначения сходного британского мероприятия во время англо-бурской войны в Южной Африке.

Оттуда идея пошла гулять дальше. Представляется очень вероятным, к примеру, что термин “концлагерь” появился в русском языке как перевод английского *concentration camp* – возможно, благодаря знакомству Троцкого с историей англо-бурской войны[41]. В 1904 году немецкие колонисты в Германской Юго-Западной Африке тоже использовали британский образец – правда, с одним изменением. Они не просто согнали в лагеря африканское племя гереро, но и заставили людей работать для пользы немецкой колонии.

Прослеживается ряд странных и зловещих связей между этими первыми германо-африканскими лагерями принудительного труда и теми, что возникли в нацистской Германии три десятилетия спустя. В частности, именно благодаря этим южноафриканским трудовым поселениям в 1905 году в немецком языке впервые появилось слово *Konzentratiónslager*. Первым имперским комиссаром в Германской Юго-Западной Африке был доктор Генрих Геринг – отец Германа Геринга, создавшего первые нацистские лагеря в 1933 году. В этих же африканских лагерях прошли первые немецкие медицинские эксперименты на людях: Теодор Моллисон и Ойген Фишер, два учителя Йозефа Менгеле, использовали в качестве подопытного материала людей из племени гереро, причем Фишер пытался при этом обосновать свою теорию превосходства белой расы. Он не был одинок в своих убеждениях. В 1912 году в Германии вышла и приобрела немалую популярность книга “Немецкая идея в мире”. В ней говорилось:

Ничто не может убедить разумных людей в том, что сохранение какого-либо из кафрских племен Южной Африки важнее для будущего человечества, чем развитие великих европейских наций и белой расы в целом. <…> Лишь когда туземное население научится делать что-либо полезное для высшей расы, <…> о нем можно будет сказать, что оно имеет моральное право на существование[42].

---

[39] См.: Kotek J. et Rigoulot P. *Le Siècle des camps*. Paris, 2001. P. 97–107; *Система исправительно-трудовых лагерей в СССР*. С. 11–12.

[40] Об этом определении я более развернуто писала в статье *A History of Horror* // The New York Review of Books, October 18, 2001.

[41] См.: Геллер, Михаил. *Концентрационный мир и советская литература.* Лондон, 1974. С. 43.

[42] Цит.: Kotek J. et Rigoulot P. Op. cit. P. 92.

Хотя эта концепция редко излагалась с такой ясностью, подобные настроения часто проглядывают за колониальной практикой. Безусловно, некоторые формы колониализма помогли утвердиться мифу о превосходстве белой расы и способствовали легитимизации насилия одной расы в отношении другой. Можно утверждать поэтому, что дурной пример некоторых европейских колонизаторов прокладывал дорогу европейскому тоталитаризму XX века[43]. И не только европейскому: Индонезия – пример постколониального государства, чьи правители сразу отправили своих политических противников в концлагеря точно так же, как раньше поступали колонизаторы.

Российская империя, успешно подавлявшая туземные народы при своем продвижении на восток, не была исключением. В романе Толстого “Анна Каренина” во время одного из званых обедов муж Анны, занимавшийся по долгу службы делами инородцев, рассуждает об их обрусении “вследствие высших принципов”[44]. Большевики, как и все мало-мальски образованные русские, наверняка знали об угнетенном положении киргизов, бурят, тунгусов, чукчей и других народов в Российской империи. Тот факт, что это их не особенно беспокоило (а ведь они много говорили о судьбе обездоленных), сам по себе показателен.

Впрочем, создателям европейских концлагерей, конечно же, не требовалось исчерпывающего знания истории Южной Африки или Восточной Сибири. Представление о том, что одни категории людей стоят выше других, было достаточно распространено в Европе начала XX века. И это в конечном счете связывает лагеря Советского Союза и нацистской Германии в самом глубоком смысле: оба режима утверждали себя, помимо прочего, за счет того, что устанавливали категории “врагов” или “людей низшего сорта”, которых они преследовали и уничтожали в массовых масштабах.

В нацистской Германии первыми жертвами стали калеки и умственно отсталые. За ними последовали цыгане, гомосексуалисты и, конечно же, евреи. В Советской России в первую очередь репрессиям подверглись “бывшие люди”, считавшиеся сторонниками свергнутого режима. Позднее возникло расплывчатое понятие “врагов народа”, включавшее в себя не только тех, кого считали политическими противниками режима, но и некоторые этнические группы, казавшиеся руководству (по столь же расплывчатым причинам) угрозой советскому государству или власти Сталина. В разные периоды Сталин санкционировал массовые аресты поляков, прибалтийцев, чеченцев, крымских татар и – накануне своей смерти – евреев[45].

Хотя эти категории устанавливались не вполне произвольно, они никогда не были абсолютно стабильны. Полстолетия спустя Ханна Арендт писала, что и нацистский, и большевистский режимы создавали себе “объективных противников” или “объективных врагов” – содержание этого понятия “изменяется в зависимости от преобладающих условий (так что после ликвидации одной категории может быть объявлена война другой)”. “Задача тоталитарной полиции, – добавила она, – состоит не в раскрытии преступления, а в том, чтобы быть наготове, когда правительство решает арестовать определенную категорию населения”[46]. Опять-таки речь идет о репрессиях против граждан не за то, что они сделали, а за то, кем они являются.

В обоих обществах создание концлагерей было завершающей стадией долгого процесса дегуманизации этих “объективных врагов” – процесса, начинавшегося с риторики. Гитлер писал в “Майн кампф”, как он внезапно осознал, что в трудностях Германии виноваты евреи, что с ними связаны все сомнительные, грязные делишки в общественной жизни: “Вскрывая

---

[43] Ibid. P. 1–94.

[44] Толстой, Лев. *Анна Каренина*. Часть четвертая. Глава IX.

[45] Подробное обсуждение отношения Сталина к "враждебным" этническим группам см. в кн.: Martin, Terry. *The Affirmative Action Empire*. New York, Ithaca, 2001.

[46] Arendt, Hannah. *The Origins of Totalitarianism*. New York, 1951. P. 122–123. (Цит. по: Арендт Х. *Истоки тоталитаризма*. М., 1996. С. 552–553.)

этот нарыв скальпелем, немедленно обнаруживаешь, точно личинку в разлагающемся теле, маленького еврейчика, ослепленного внезапным светом…”[47]

Ленин и Сталин тоже с самого начала винили в многочисленных экономических трудностях страны неких врагов – “вредителей”, “саботажников”, агентов иностранных держав. В конце 1930-х годов, когда волна арестов круто пошла вверх, Сталин продвинул свою риторику дальше: начал клеймить “врагов народа” как вредоносных паразитов, как “ядовитые сорняки”. Он называл своих противников “скверной”, от которой партия “очищает себя”. Это было очень похоже на нацистскую пропаганду, ассоциировавшую евреев с образами паразитов, вредоносных насекомых, носителей заразы[48].

За демонизацией “врага” следовала его правовая изоляция. До того как евреев начали отправлять в лагеря, их лишили статуса граждан Германии. Им запретили поступать на государственную службу, работать юристами, судьями; запретили браки с лицами арийской расы; запретили посещать арийские школы; запретили вывешивать немецкий флаг; предписали носить желтую звезду Давида. Их стали избивать и унижать на улицах[49]. В сталинском Советском Союзе “врагов народа” до ареста публично унижали на собраниях, увольняли с работы, исключали из партии. С ними разводились жены и мужья, от них отрекались дети.

В лагерях дегуманизация усиливалась и доводилась до крайности, что делало жертвы более покорными и укрепляло веру палачей в законность своих действий. В составившем целую книгу интервью Франца Штангля, бывшего начальника концлагеря Треблинка, журналистка Гита Серени спросила его, почему заключенных перед уничтожением еще и били, унижали, раздевали. Штангль ответил: “Чтобы привести в нужное состояние надзирателей. Чтобы они могли делать свое дело”[50]. В книге “Организованный террор: концентрационный лагерь” немецкий социолог Вольфганг Софски показал, с какой методичностью дегуманизация заключенных внедрялась во все стороны жизни в нацистских лагерях, от одинаковой рваной одежды до невозможности уединиться, тяжкой регламентации и постоянного ожидания смерти.

В советской системе дегуманизация, как мы увидим, тоже начиналась с самого момента ареста: человека лишали собственной одежды и индивидуальности, лишали сообщения с окружающим миром, допрашивали с применением пыток и подвергали фарсу суда (а то и наказывали без суда). Придавая дегуманизации особый советский оттенок, заключенных сознательно как бы исключали из советской жизни: им запрещали обращаться друг к другу “товарищ”, а в 1937 году их лишили права получать звание ударника, как бы хорошо они ни вели себя и как бы производительно ни работали. Многие бывшие заключенные отмечали, что портреты Сталина, висевшие в квартирах и служебных помещениях по всему СССР, крайне редко можно было видеть в лагерях и тюрьмах.

Это, конечно, ни в коей мере не означает, что советские и нацистские лагеря были одинаковы. Читатель, имеющий хотя бы поверхностное представление о Холокосте, увидит из этой книги, что жизнь в советской лагерной системе во многих отношениях, как очевидных, так и скрытых, отличалась от жизни в нацистской лагерной системе. Различия касались повседневной жизни и работы, охраны, наказаний, пропаганды. ГУЛАГ существовал дольше и прошел через циклы относительной суровости и мягкости. История нацистских лагерей короче и содержит меньше вариаций: они просто становились все более и более жестокими, пока их не ликвидировали отступающие немцы или не освободили наступающие союзники. Кроме того, советские лагеря были очень разными – от смертельных золотых приисков Колымы до “привилегированных” секретных институтов под Москвой, где арестанты-ученые разраба-

[47] Цит.: Bullock A. Op. cit. P. 24.

[48] См.: Weiner, Amir. *Nature, Nurture and Memory in a Socialist Utopia* // The American Historical Review. Vol. 104, № 4. October 1999.

[49] Цит.: Bullock A. P. 488.

[50] Sereny, Gitta. *Into That Darkness*. London, 1974. P. 101.

тывали оружие для Красной армии. Хотя в нацистской системе тоже были разные типы лагерей, их спектр был гораздо уже.

Однако два различия между системами представляются мне фундаментальными. Во-первых, понятие “врага” в Советском Союзе всегда было гораздо более расплывчатым, чем термин “еврей” в нацистской Германии. При крайне малом количестве исключений никакой еврей в нацистской Германии не мог изменить свой статус, никакой еврей в концлагере не имел оснований надеяться сохранить жизнь, и все евреи постоянно это сознавали. Что же касается советской системы, в ней миллионы заключенных боялись гибели – и миллионы погибли, – но не было ни одной категории узников, для которой гибель была бы абсолютно гарантирована. Порой заключенный мог улучшить свое положение, перейдя на более легкую работу – например, инженера или геолога. В каждом лагере существовала иерархия заключенных, в которой кое-кому удавалось подняться либо за счет других, либо с помощью других. Когда ГУЛАГ оказывался “перегружен” женщинами, детьми и стариками или же когда фронту нужны были солдаты, проводились массовые амнистии. Иногда улучшение наступало для целых категорий “врагов”. Например, в 1939 году, вскоре после начала Второй мировой войны, Сталин арестовал сотни тысяч поляков, но в 1941-м, когда Польша и СССР стали союзниками, он немедленно выпустил их из ГУЛАГа. Верно и обратное: в Советском Союзе тюремщики иногда переходили в разряд жертв. Охранники ГУЛАГа, работники лагерной администрации и даже крупные чины “органов” могли подвергнуться аресту и оказаться на нарах. Иными словами, не каждый “ядовитый сорняк” оставался “ядовитым” навсегда – и не было такой категории заключенных, которая жила бы в лагере без всякой надежды, в ожидании неминуемой смерти[51].

Во-вторых, как читателю опять же станет ясно из последующего, – главное назначение ГУЛАГа было экономическим. Это явствует, помимо прочего, из повседневного словоупотребления и публичных заявлений его основателей. Это вовсе не означает, что ГУЛАГ был гуманен. Система обращалась с заключенными как с рабочим скотом или, точнее, как с кусками железной руды. Охрана перемещала их туда-сюда, загружала в вагоны и выгружала, взвешивала, измеряла, кормила, если рассчитывала извлечь из них пользу, морила голодом, если не рассчитывала. Их, пользуясь марксистским языком, эксплуатировали, овеществляли и превращали в товар. Если они не были продуктивны, их жизнь в глазах хозяев ничего не стоила.

Тем не менее их судьба очень сильно отличалась от судьбы евреев и людей других национальностей, которых нацисты посылали не в концентрационный лагерь, а в *Vernichtungslager* – лагерь уничтожения. Таких было четыре: Бельзек, Хелмно, Собибор и Треблинка. Майданек и Аушвиц были одновременно лагерями принудительного труда и лагерями смерти. Попавшие в них заключенные сортировались. Ничтожное меньшинство отправляли на несколько недель на принудительные работы, остальные же шли прямо в газовые камеры. Их убивали и немедленно кремировали.

Насколько я могла установить, этот конкретный вид убийства, практиковавшийся в разгар Холокоста, не имел советского эквивалента. В Советском Союзе были свои способы расправляться с сотнями тысяч граждан страны. Обычно людей не везли для этого в концлагерь, а гнали ночью в лес, выстраивали цепью, убивали выстрелами в затылок и закапывали в массовых могилах – способ не менее “индустриальный” и безличный, чем нацистский. Хотя, надо сказать, есть сведения об использовании советскими “органами” для убийства заключенных выхлопных газов. Именно так в ранние годы поступали нацисты[52]. Советские заключенные гибли и внутри ГУЛАГа – чаще, однако, не из-за целенаправленной работы администрации, а из-за ее преступного небрежения[53]. В определенных советских лагерях и в определен-

[51] Я благодарна Терри Мартину за разъяснения, касающиеся этого пункта.

[52] См.: Шрейдер, Михаил. *НКВД изнутри.* М., 1995. С. 5.

[53] Линн Виола (Lynne Viola) подчеркивает это в своей работе о раскулаченных.

ные периоды тем, кто работал зимой на лесоповале или добывал на Колыме золото, смерть была практически обеспечена. Узников также сажали в штрафные изоляторы, где они гибли от голода и холода, оставляли без медицинской помощи в нетопленых больничных бараках или просто расстреливали “при попытке побега”. Тем не менее советская лагерная система в целом не была сознательно организована как фабрика смерти, даже если она временами ею становилась.

Это тонкие, но значимые различия. Хотя ГУЛАГ и Аушвиц, безусловно, принадлежат к одной интеллектуальной и исторической традиции, они четко отличаются не только друг от друга, но и от систем лагерей, созданных другими режимами. Общая идея концентрационного лагеря использовалась во многих культурах и в разных ситуациях, но даже поверхностное изучение кросс-культурной истории лагерей показывает, что конкретные детали – как была организована лагерная жизнь, как лагеря развивались во времени, насколько жестко они были организованы, насколько они были жестоки или либеральны – зависят от страны, культуры и политического режима[54]. Для здоровья и самой жизни тех, кто оказывался за колючей проволокой, эти детали часто имели решающее значение.

Однако, читая воспоминания людей, переживших советский или нацистский лагерь, обращаешь внимание не столько на различие между двумя системами, сколько на различия в конкретном опыте жертв. Каждая история имеет свои неповторимые черты, каждый лагерь нес разным людям свои особые ужасы. В Германии можно было умереть от жестокости, в России – от отчаяния. В Аушвице люди задыхались в газовых камерах, на Колыме замерзали в снегу. Можно было погибнуть в немецком лесу и сибирской тундре, в шахте и вагоне. Но в конечном счете история твоей жизни – всегда твоя собственная история.

[54] Подробнее об этом см. в моей статье *A History of Horror*.

Часть первая
Возникновение ГУЛАГа
1917–1939 годы

Глава 1
Большевистское начало

Но разбит твой позвоночник,
Мой прекрасный жалкий век.
И с бессмысленной улыбкой
Вспять глядишь, жесток и слаб,
Словно зверь, когда-то гибкий,
На следы своих же лап.

Осип Мандельштам.
Век

Одна из целей моих воспоминаний – развеять миф о том, что наиболее жестокое время репрессий наступило в 1936–1937 годах. Я думаю, что в будущем статистика арестов и расстрелов покажет, что волны арестов, казней, высылок надвинулись уже с начала 1918 года, еще до официального объявления осенью этого года "красного террора", а затем прибой все время нарастал до самой смерти Сталина…
Дмитрий Лихачев.
Воспоминания

В 1917-м по России прокатились две волны революции. Они смели общество, сложившееся в Российской империи, как карточный домик. Началась гражданская война, но насилие применялось не только на полях сражений. Большевики всеми силами старались подавить любые формы интеллектуальной и политической оппозиции. Они подвергли репрессиям не только деятелей старого режима, но и социалистов: меньшевиков, анархистов, социалистов-революционеров. Относительный мир в новом советском государстве установился только в 1921 году.

В обстановке насилия, произвола и импровизации возникли первые советские лагеря принудительного труда. Как и многие другие большевистские учреждения, они создавались *ad hoc,* в спешке, в горячке чрезвычайных мер гражданской войны. Это не означает, однако, что их идея никому не приходила в голову раньше. За три недели до Октябрьской революции Ленин уже набрасывал в общих чертах программу "трудовой повинности" для капиталистов и богачей вообще. В январе 1918 года, разозленный антибольшевистским сопротивлением, он пошел еще дальше. Он телеграфировал Антонову-Овсеенко: "Особенно одобряю и приветствую арест миллионеров-саботажников в вагоне I и II класса. Советую отправить их на полгода на принудительные работы в рудники"[55].

Взгляд Ленина на трудовые лагеря как на специфическую форму наказания для враждебного класса буржуазии вполне соответствовал его общим представлениям о преступлении

[55] Геллер. С. 23–24.

и преступниках. С одной стороны, первый советский лидер испытывал двойственные чувства по поводу заключения в тюрьму и наказания обычных преступников – воров, карманников, убийц, которых он считал потенциальными союзниками. По его мнению, “коренная социальная причина эксцессов, состоящих в нарушении правил общежития, есть эксплуатация масс, нужда и нищета их”.

С устранением этой главной причины, полагал он, эксцессы неизбежно начнут отмирать. Поэтому для сдерживания преступников не требуется никаких особых наказаний: со временем революция как таковая избавит общество от преступлений. Некоторые формулировки первого большевистского уголовного кодекса должны греть душу самых радикальных и прогрессивных западных сторонников реформ системы наказания[56].

С другой стороны, Ленин, как и большевистские теоретики права, которые шли по его стопам, считал, что создание советского государства порождает преступника нового типа – “классового врага”, который иногда открыто, а чаще тайно стремится уничтожить завоевания революции. Классового врага труднее выявить, чем обычного правонарушителя, и намного труднее перевоспитать. В отличие от обыкновенного преступника, классовому врагу нельзя доверять, когда он обещает сотрудничать с советской властью, и он заслуживает более сурового наказания, чем простой вор или убийца. Неслучайно в большевистском “Декрете о взяточничестве”, изданном в мае 1918-го, говорилось, что если преступление совершено лицом, принадлежащим к имущему классу, которое пользуется взяткой для сохранения или приобретения привилегий, связанных с правом собственности, то оно приговаривается “к наиболее тяжким и неприятным принудительным работам и все его имущество подлежит конфискации”[57].

Иными словами, с первых дней нового советского государства людей наказывали не за то, что они сделали, а за то, кем они являются.

К несчастью, никто ясно не объяснил, как именно должен выглядеть “классовый враг”. В результате после большевистского переворота количество всевозможных арестов пошло по нарастающей. После ноября 1917 года революционные трибуналы, состоявшие из наспех подобранных “сторонников” революции, начали вершить суд над взятыми наугад ее “противниками”. Тюремное заключение, принудительные работы и даже смертная казнь – таковы были приговоры, произвольно выносившиеся банкирам, женам торговцев, “спекулянтам”, бывшим надзирателям царских тюрем и вообще всем, кто внушал подозрение[58].

Понятие о том, кто есть “враг”, менялось от места к месту и порой частично совпадало с понятием “военнопленный”. Занимая тот или иной город, возглавляемая Троцким Красная армия часто брала заложников из числа буржуазии, которых угрожала расстрелять в случае возвращения белых. Заложников можно было использовать в качестве рабочей силы: нередко их заставляли рыть траншеи и строить укрепления[59]. Разграничение между политическими заключенными и обычными преступниками было столь же произвольным. Необразованные члены чрезвычайных комиссий и революционных трибуналов могли, например, решить, что человек, проехавший на трамвае без билета, представляет угрозу обществу, и приговорить его за “политическое преступление”[60]. Часто судьбу человека решали непосредственно те, кто его арестовал. У председателя ВЧК Феликса Дзержинского была черная тетрадка, куда он записывал фамилии и адреса “врагов”, встречавшихся ему в ходе работы[61].

---

[56] Jakobson. P. 18–26.

[57] *Декреты…* Т. II. С. 241–242; Т. III. С. 80. См. также: Геллер. С. 10; Pipes. P. 793–800.

[58] Jakobson. P. 18–26; декрет "О революционных трибуналах" от 19 декабря 1917 г. *Сборник…* С. 9–10.

[59] Hoover, Melgunov Collection, Box 1, Folder 63.

[60] *Система ИТЛ в СССР.* С. 13.

[61] РГАСПИ, ф. 76, оп. 3, д. 1, 13.

Эти различия оставались нечеткими до самого распада Советского Союза. Однако наличие двух типов заключенных – “уголовников” и “политических” – оказало большое влияние на советскую пенитенциарную систему. В первое десятилетие советской власти места заключения даже были разделены на две соответствующие категории. Разделение возникло спонтанно и было реакцией на хаос, воцарившийся в существующей тюремной системе. Первое время после революции все арестанты помещались в “обычные” тюрьмы, находившиеся в ведении “традиционных” правоохранительных учреждений – вначале Наркомата юстиции, затем Наркомата внутренних дел. Иными словами, они попадали в тюрьмы, оставшиеся от царской системы, как правило, грязные, угрюмые кирпичные здания, имевшиеся в центральной части каждого крупного города. В 1917–1920 годах там царил полнейший произвол. Толпы брали тюрьмы штурмом, самозваные комиссары увольняли надзирателей, заключенным объявлялись широкие амнистии, или они просто разбегались[62].

В начальный период большевистской власти немногие тюрьмы, которые все еще действовали, были переполнены и не могли должным образом исполнять свои функции. Спустя неделю после революции Ленин лично потребовал “принять экстренные меры для немедленного улучшения продовольствия в петроградских тюрьмах”[63]. Несколько месяцев спустя член московской ЧК посетил Таганскую тюрьму и отметил ужасающий холод, грязь, тиф и голод. Большинство заключенных не могло выходить на принудительные работы за неимением одежды. Одна из газет писала, что в московской Бутырской тюрьме, рассчитанной на 1000 заключенных, содержится 2500. Другая газета жаловалась, что красногвардейцы беспорядочно арестовывают каждый день сотни людей, а потом не знают, что с ними делать[64].

Переполнение мест заключения диктовало “творческие” решения. За неимением лучшего новые власти держали арестантов в подвалах, на чердаках, в опустевших дворцах и старых церквах. Один из уцелевших впоследствии вспоминал, как его посадили в подвал покинутого здания. В одной комнате с ним находилось еще пятьдесят человек. Мебели никакой, еды очень мало; те, кому не приносили передач, попросту голодали[65]. В декабре 1917-го в ВЧК обсуждалась судьба пятидесяти шести разношерстных заключенных – воров, пьяниц и “политических”, которых держали в подвале петроградского Смольного института, бывшего в дни революции штаб-квартирой Ленина[66].

Не всем, однако, беспорядок приносил страдания. Роберт Брюс Локкарт, британский дипломат, обвиненный в шпионаже (справедливо, как выяснилось), был в 1918 году арестован и помещен в Кремле. Он проводил там время за раскладыванием пасьянсов и чтением Фукидида и Карлейля. Прежний слуга время от времени приносил ему горячий чай и газеты[67].

Но даже в сохранившихся “традиционных” тюрьмах режим был произвольным, а надзиратели – неопытными. В Выборге тюремщик заявил одному заключенному, что знает его, так как в прошлом приезжал на дачу к его дяде, служа шофером у директора банка. Поистине мир встал с ног на голову! Шофер охотно помог старому знакомому перебраться в более удобную и сухую камеру и в конце концов выйти на свободу[68]. Один белогвардейский полковник писал, что в декабре 1917-го заключенные петроградской тюрьмы приходили и уходили, когда им вздумается, а по ночам в камерах спали бездомные. Оглядываясь на ту эпоху, один видный советский деятель вспоминал, что не бежали только те, кому было лень[69].

---

[62] Jakobson. P. 10–17; *Система ИТЛ в СССР*. С. 10–24.

[63] *Декреты…* Т. I. С. 401.

[64] Hoover, Melgunov Collection, Box 1, Folder 4.

[65] *Во власти Губчека*. С. 3–11.

[66] Hoover, Melgunov Collection, Box 1, Folder 4.

[67] Lockhart. P. 326–345.

[68] Елисеев С. Г. *Тюремный дневник*, в кн. *Уроки…* С. 17–19.

[69] *Система ИТЛ в СССР*. С. 11.

Неразбериха заставила ВЧК прийти к следующему выводу: нельзя помещать “подлинных” врагов режима в обычные тюрьмы с их хаосом и нерадивыми надзирателями. Эти тюрьмы, возможно, годятся для карманников и малолетних правонарушителей, но для саботажников, дармоедов, спекулянтов, царских офицеров, священников, капиталистов и прочих, кто представлялся большевистскому воображению главной угрозой, нужны были более творческие решения.

Таковое было найдено уже 4 июня 1918 года, когда Троцкий приказал усмирить, разоружить и поместить в концлагеря взбунтовавшихся чешских военнопленных. Позже, 26 июня, в меморандуме, адресованном советскому правительству, Троцкий вновь пишет о концентрационных лагерях – тюрьмах под открытым небом, куда он предлагает заключить “паразитические элементы”, буржуазию и бывших офицеров, не желающих вступать в Красную армию[70].

В августе этот термин использовал и Ленин. В телеграмме в Пензу, где произошло антибольшевистское восстание, он призвал “провести беспощадный массовый террор против кулаков, попов и белогвардейцев; сомнительных запереть в концентрационный лагерь вне города”[71]. Возможности для этого уже были. В течение лета 1918 года, после Брестского мирного договора, покончившего с участием России в Первой мировой войне, большевистский режим освободил два миллиона военнопленных. Опустевшие лагеря были немедленно переданы в ведение ВЧК[72].

В то время ВЧК, должно быть, казалась идеальным инструментом для помещения “врагов” в “лагеря особого назначения”. Совершенно новая организация, ВЧК должна была стать “щитом и мечом” коммунистической партии. Она не была подотчетна ни советскому правительству, ни какому-либо из его подразделений. У нее не было традиций соблюдения закона, не было никаких правовых обязательств, не было необходимости согласовывать свои действия с милицией, судебными органами или Наркоматом юстиции. Само ее название указывало на особый статус: Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и саботажем. Она была “чрезвычайной” потому, что существовала вне обычной законности.

Вскоре после создания ВЧК на нее была возложена поистине чрезвычайная задача. 5 сентября 1918 года после покушения на Ленина Дзержинскому поручили проводить в жизнь политику “красного террора”. Поднявшаяся затем волна арестов и убийств отличалась большей организованностью, чем хаотический террор предыдущих месяцев, и была важной составной частью гражданской войны. Террор был направлен против тех, кого подозревали в контрреволюционной деятельности на “внутреннем фронте”. Он был кровавым, безжалостным и жестоким – именно к этому стремились те, кто его развязал. “Красная газета”, орган Красной армии, писала: “Сотнями будем мы убивать врагов. Пусть будут это тысячи, пусть они захлебнутся в собственной крови. За кровь Ленина и Урицкого пусть прольются потоки крови – больше крови, столько, сколько возможно”[73].

“Красный террор” играл решающую роль в борьбе Ленина за власть, а концентрационные лагеря или “лагеря особого назначения” играли решающую роль в “красном терроре”. О них говорилось в приказе ВЧК о “красном терроре”, постановлявшем “арестовать как заложников крупных представителей буржуазии, помещиков, фабрикантов, торговцев, контрреволюционных попов, всех враждебных советской власти офицеров и заключить всю эту публику в концентрационные лагеря”[74]. Хотя о количестве заключенных надежных данных нет, известно,

---

[70] Геллер. С. 43.

[71] Там же. С. 44; Leggett. P. 103.

[72] Первоначально ВЧК ведала концлагерями совместно с Центральной коллегией по делам пленных и беженцев (Центропленбеж). См.: *Система ИТЛ в СССР*. С. 11.

[73] Leggett. P. 108.

[74] Приказ от 5 сентября 1918 года // *Сборник*. С. 11.

что к концу 1919 года в России был двадцать один зарегистрированный лагерь. К концу 1920-го их уже было 107 – в пять раз больше[75].

Тем не менее на этой стадии назначение лагерей оставалось не вполне ясным. Заключенные должны были трудиться – но с какой целью? Труд должен был их перевоспитывать? Или унижать? Или он был средством построения нового советского государства? Различные советские деятели и органы давали различные ответы. В феврале 1919 года, выступая на заседании ВЦИК, Дзержинский говорил о роли лагерей в идейном перевоспитании буржуазии:

> …я предлагаю оставить эти концентрационные лагеря для использования труда арестованных, для господ, проживающих без занятий, для тех, кто не может работать без известного принуждения, или же если мы возьмем советские учреждения, то здесь должна будет применена мера такого наказания за недобросовестное отношение к делу, за нерадение, за опоздание и т. д. <…> Таким образом предлагается создать школу труда…[76]

Однако в первом официальном постановлении и инструкции о лагерях принудительных работ, изданных весной 1919-го, акценты были расставлены несколько иначе[77]. В этих документах, содержащих на удивление подробные перечни правил и рекомендаций, говорится, что каждый губернский город должен создать лагерь не менее чем на 300 человек. Лагерь может быть расположен “как в черте города, так и в находящихся вблизи него поместьях, монастырях, усадьбах и т. д.” Предписывался восьмичасовой рабочий день; сверхурочные и ночные работы разрешались только “с соблюдением правил Кодекса законов о труде”. Продуктовые передачи отдельным заключенным были запрещены, все переданные продукты должны были поступать в общий котел. Свидания с близкими родственниками разрешались, но только по воскресным и праздничным дням. Попытка побега могла быть наказана десятикратным увеличением срока, повторная попытка – расстрелом (чрезвычайно сурово по сравнению с дореволюционными законами о побегах, мягкостью которых большевики пользовались). Что еще важнее, из этих документов вытекало, что труд заключенных служит не целям их перевоспитания, а целям возмещения расходов на содержание лагеря. Заключенных, неспособных трудиться, надлежало отправлять в другие места. Лагеря должны окупать себя – такие оптимистические расчеты строили разработчики новой системы[78].

Администрацию лагерей идея самоокупаемости заинтересовала очень быстро: средства от государства на их содержание поступали нерегулярно. По крайней мере, считало начальство, работа заключенных должна приносить практическую пользу. В сентябре 1919 года в секретном докладе, направленном Дзержинскому, говорилось, что санитарные условия в одном пересыльном лагере ниже всякой критики и вследствие болезней слишком многие заключенные утрачивают работоспособность. Помимо прочего, автор доклада предлагал отправлять неспособных к труду в другие места, чтобы лагерь действовал более эффективно (впоследствии этот принцип многократно использовало руководство ГУЛАГа). Уже чувствуется, что лагерное начальство озабочено болезнями и голодом в первую очередь из-за того, что больные и голодные заключенные – бесполезные заключенные. Их человеческое достоинство и сама жизнь мало кого интересовали[79].

---

[75] Иванова. *ГУЛАГ в системе тоталитарного государства*. С. 13.

[76] Исторический архив. № 1. 1958. С. 6–11; Геллер. С. 52.

[77] Как пишет историк Ричард Пайпс, Ленин не хотел, чтобы его имя ассоциировалось с этими первыми концлагерями, поэтому постановление и инструкцию издал не Совнарком, который он возглавлял, а Президиум ВЦИК (Pipes. P. 834).

[78] *Декреты…* Т. V. С. 69–70 и 174–181.

[79] РГАСПИ, ф. 76, с. 3, д. 65.

На практике, однако, встречались начальники лагерей, которых не волновало ни перевоспитание заключенных, ни самоокупаемость. Главное для них было – опустить “бывших” на дно, унизить их, дать им почувствовать, какова она, рабочая доля. Когда белогвардейцы временно заняли Полтаву, учрежденная ими комиссия представила отчет, где говорилось, что, пока город был в руках большевиков, они принуждали арестантов из числа буржуазии к работе, которая была настоящим издевательством над людьми. Одного арестованного заставили убирать грязь с пола голыми руками. Другому дали вместо тряпки скатерть и велели мыть уборную[80].

Впрочем, эти тонкие различия в намерениях, возможно, не имели большого значения для многих тысяч заключенных, для которых сам факт ареста без всякой вины был достаточно унизителен. Возможно, эти различия мало влияли и на условия жизни арестованных, которые везде и всюду были ужасными. Один священник, отправленный в сибирский концлагерь, впоследствии вспоминал суп из рыбьих хвостов, темные бараки и страшный холод зимой[81]. Александра Изгоева, видного политического деятеля царской эпохи, отправили из Петрограда в северный лагерь. По пути партия заключенных остановилась в Вологде. Хотя им обещали горячую пищу и теплый ночлег, ничего этого они не получили. Их водили по городу в поисках помещения: пересыльный лагерь подготовлен не был, их разместили в бывшей школе, где были только голые стены и скамейки. Те, у кого имелись деньги, в конце концов купили себе еду в городе[82].

Однако такому произволу подвергались не только заключенные. В критические моменты гражданской войны экстренные нужды Красной армии и советского государства оказывались важнее всего остального – перевоспитания, мести, справедливости. В октябре 1918-го командующий Северным фронтом потребовал от петроградских властей 800 рабочих, срочно необходимых для прокладки дорог и рытья траншей. В результате “некоторое число граждан из бывшего коммерческого сословия было вызвано в советское учреждение якобы зарегистрироваться для возможной трудовой повинности когда-то в будущем. Когда они явились, их арестовали и посадили в казармы Семеновского полка ждать отправки на фронт”. Когда выяснилось, что рабочих рук все равно не хватает, местный совет просто приказал оцепить участок Невского проспекта, арестовать всех, у кого нет партийного билета или удостоверения государственного служащего, и разместить в близлежащих казармах. Женщин позднее освободили, а мужчин отправили на Северный фронт; “никого из столь странным образом мобилизованных людей не отпустили уладить домашние дела, попрощаться с родными, взять подходящую одежду и обувь”[83].

Можно понять изумление арестованных прохожих, однако петроградским рабочим этот эпизод не должен был показаться слишком уж странным. Ведь даже на этой ранней стадии советской истории граница между принудительным и обычным трудом была размыта. Троцкий открыто говорил о превращении всего населения страны в “трудовую армию” по образцу Красной армии. Рабочие ряда специальностей обязаны были регистрироваться в государственных учреждениях, которые могли послать их в любую точку страны. Особыми постановлениями определенным категориям рабочих – например, шахтерам – запрещалось переходить на другую работу. Условия жизни у “вольнонаемных” в этот период революционного произвола были ненамного лучше, чем у заключенных. Глядя со стороны, не всегда легко было отличить одних от других[84].

---

[80] Hoover, Melgunov Collection, Box 11, Folder 63.

[81] *Во власти Губчека.* С. 47–53.

[82] Изгоев. С. 36.

[83] Bunyan. С. 54–65.

[84] Геллер. С. 61; Bunyan. С. 54–114.

Это тоже выглядит предвестьем будущего. Большую часть 1920-х годов понятия “лагерь”, “тюрьма” и “принудительный труд” были очень нечеткими. Контроль над пенитенциарными учреждениями постоянно переходил из рук в руки. Ответственные за них ведомства без конца переименовывались и реорганизовывались, возглавить систему пытались различные государственные и партийные деятели[85].

И все же к концу гражданской войны выработалась определенная схема. В стране возникли две четко разграниченные системы мест лишения свободы, каждая со своими правилами, традициями, идеологией. “Обычной” системой тюрем, где содержались главным образом уголовники, ведал сначала Наркомат юстиции, а позднее Наркомат внутренних дел. Хотя на практике и эта система была подвержена хаосу и неразберихе, в ней заключенных держали в тюрьмах традиционного типа и цели ее руководителей, по крайней мере на бумаге, вполне соответствовали нормам “буржуазных” стран: перевоспитание заключенных посредством исправительного труда и предотвращение дальнейших преступлений[86].

В то же время ВЧК, позднее преобразованная в Государственное политическое управление (ГПУ), затем в Объединенное государственное политическое управление (ОГПУ) и, наконец, в Комитет государственной безопасности (КГБ), ведала другой системой – системой лагерей “особого назначения”. Хотя ВЧК в какой-то мере использовала ту же риторику перевоспитания и перековки, эти лагеря не были задуманы как обычные исправительные учреждения. Они лежали вне юрисдикции других советских ведомств и были “невидимы” для общественности. В них были особые правила, более строгий режим, более суровые наказания за побег. Их заключенные не всегда осуждались обычным судом, если их вообще судили. Их создание было экстренной мерой, но с ростом власти ВЧК и расширением понятия “врага” они становились все больше и все мощнее. И когда две системы, обычная и чрезвычайная, в конце концов объединились, это произошло по правилам чрезвычайной. ВЧК поглотила соперницу.

С самого начала “особая” система мест лишения свободы должна была иметь дело с особым составом заключенных – священниками, бывшими царскими служащими, коммерсантами, “спекулянтами”, врагами нового строя. Но одна категория “политических” интересовала власти больше других. В нее входили члены небольшевистских революционных и социалистических партий: анархисты, левые и правые эсеры, меньшевики и все прочие, кто стоял за революцию, но не входил в ленинскую большевистскую партию и не участвовал в октябрьском перевороте 1917 года. Как бывшие союзники в революционной борьбе против царского режима они заслуживали особого отношения. ЦК ВКП(б) обсуждал их судьбу до конца 1930-х годов, когда большинство тех, кто еще оставался в живых, были арестованы или расстреляны[87].

Эта категория заключенных особенно занимала Ленина, помимо прочего, потому, что, как все сектантские лидеры, он питал великую ненависть к “отступникам”. В ходе типичной полемики он назвал одного из своих оппонентов-социалистов “сладеньким дурачком”, “слепым щенком”, “сикофантом на службе у буржуазии”, у которого “в каждой фразе бездонная пропасть ренегатства”[88]. Несомненно, Ленин задолго до революции знал, как он поступит с такими людьми. Один из его соратников-революционеров вспоминал такой разговор:

> Я ему и говорю: “Владимир Ильич, да приди вы к власти – вы на следующий день меньшевиков вешать станете!” А он поглядел на меня

[85] *Система ИТЛ в СССР*. С. 11–12; подробно об институционных изменениях в 20-е годы см. Jakobson, а также Lin.

[86] РГАСПИ, ф. 17, с. 84, д. 585.

[87] Примеры этих обсуждений см. в: Hoover, Fond 89, 73/25, 26, 27.

[88] Ленин. *Пролетарская революция и ренегат Каутский / Полн. собр. соч*. Т. 37. 1981. С. 235–338.

и говорит: “Первого меньшевика мы повесим после последнего эсера”, – прищурился и засмеялся[89].

Но заключенных из этой особой категории “политических” было куда труднее контролировать. Многие провели годы в царских тюрьмах и умели устраивать голодовки, оказывать моральное давление на надзирателей, налаживать сообщение между камерами и организовывать совместные протесты. Что еще более важно, они умели устанавливать связь с внешним миром и знали, с кем ее устанавливать. У большинства российских небольшевистских социалистических партий по-прежнему действовали эмигрантские ячейки, главным образом в Берлине или Париже, и их члены могли нанести немалый ущерб международному облику ленинцев. В 1921 году на третьем конгрессе Коминтерна эсеры-эмигранты во всеуслышание прочитали письмо от их заключенных товарищей в России. Письмо произвело на конгрессе сенсацию. В нем заявлялось, что тюремные условия в революционной России хуже, чем в царские времена: заключенные голодают, многих из них на месяцы лишают свиданий, переписки, прогулок[90].

Социалисты вступались за права заключенных, как они делали до революции. Сразу же после большевистского переворота несколько известных революционеров, в том числе Вера Фигнер, автор воспоминаний о жизни в царских тюрьмах, и Екатерина Пешкова, жена Максима Горького, возродили Политический Красный Крест – организацию, задачей которой была помощь заключенным и которая до революции действовала подпольно. Пешкова хорошо знала Дзержинского и состояла с ним в регулярной и дружеской переписке. Благодаря ее влиянию и престижу Политический Красный Крест добился права посещать места заключения, встречаться с политическими заключенными, посылать им передачи, ходатайствовать об освобождении больных. Организация сохраняла за собой эти права на протяжении большей части 1920-х годов[91]. Позднее писателю Льву Разгону, арестованному в 1937-м, все это казалось настолько неправдоподобным, что он слушал рассказы о Политическом Красном Кресте своей второй жены, чей отец был одним из политических заключенных-социалистов, “как сказки, как невероятные волшебные сказки”[92].

Большевиков очень беспокоила дурная слава, которую распространяли о них западные социалисты и Политический Красный Крест. Многие из них в прошлом не один год жили в эмиграции и были чувствительны к мнению старых заграничных товарищей. Кроме того, многие по-прежнему верили, что революция вот-вот перекинется на западные страны, и не хотели, чтобы шествие мирового коммунизма замедлилось из-за нелестной молвы. В 1922 году отзывы о них западной печати обеспокоили их настолько, что они сделали первую из многих попыток замаскировать коммунистический террор атаками на “капиталистический террор”. С этой целью они создали “альтернативное” общество помощи заключенным – МОПР (Международное общество помощи борцам революции), которое должно было оказывать поддержку “ста тысячам узников капитализма”[93].

Хотя берлинский филиал Политического Красного Креста немедленно осудил МОПР за попытку отвлечь внимание от положения заключенных и ссыльных в Советской России, многие попались на эту удочку. В 1924 году общество заявило, что в нем состоит четыре миллиона человек, и даже провело свою первую международную конференцию, собрав представителей из многих стран[94]. Пропаганда оказывала свое действие. Когда французского писа-

---

[89] Service. *Lenin.* P. 186.

[90] Hoover, Nicolaevsky Collection, Box 9, Folder 1.

[91] Ibid., Box 99; РГАСПИ, ф. 76, оп. 3, д. 87; *Генрих Ягода*. С. 265.

[92] Разгон. *Плен в своем отечестве*. С. 76.

[93] Hoover, Nicolaevsky Collection, Box 99.

[94] Ibid.

теля Ромена Роллана попросили высказаться об опубликованном собрании писем социалистов, содержащихся в советских тюрьмах, он заявил: “Почти то же самое происходит в польских тюрьмах и в тюрьмах Калифорнии, где мучат членов организации «Индустриальные рабочие мира». То же самое происходит в английских тюрьмах на Андаманских островах”[95].

ВЧК, кроме того, пыталась заглушить протесты, посылая причиняющих беспокойство социалистов подальше от возможных контактов. Некоторых в административном порядке сослали в отдаленные места, как делал в свое время царский режим. Других отправили в дальние лагеря близ Архангельска, один из которых устроили в бывшем монастыре около Холмогор. Тем не менее даже там люди находили способы сообщаться с внешним миром. Небольшая группа “политических”, содержавшаяся в маленьком концлагере в Нарыме (Западная Сибирь), ухитрилась переправить письмо в эмигрантскую социалистическую газету. Заключенные жаловались, что наглухо отгорожены от остального мира: письма доходят лишь в том случае, когда в них не говорится ни о чем, кроме здоровья арестантов и их родственников. Восемнадцатилетнюю анархистку Ольгу Романову, сообщали авторы письма, три месяца держали на хлебе и кипятке[96].

Отдаленность мест лишения свободы не гарантировала покоя тюремщикам. Привыкшие к привилегированному положению, которое у них было в царских тюрьмах, социалисты почти всюду, куда их посылали, требовали газет, книг, прогулок, неограниченного права на переписку и, прежде всего, права выбирать своего представителя в отношениях с властями. Когда не шибко грамотные местные чекисты им отказывали – для них понятия “социалист”, “анархист” мало что значили, – социалисты протестовали, иной раз яростно. Согласно одному документу, группа заключенных Холмогорского лагеря пришла к выводу, что необходимо бороться за самое элементарное, в частности за то, чтобы социалистам и анархистам были предоставлены обычные права политзаключенных. В ходе этой борьбы, писали заключенные, их подвергали всевозможным наказаниям: сажали в одиночные камеры, избивали, морили голодом, бросали на колючую проволоку. По зданию, где они находились, открывали огонь. К концу года у большинства арестованных набралось до тридцати пяти дней голодовки[97].

В конце концов этих заключенных перевели из Холмогор в другой монастырь – в Пертоминске. Как говорилось в жалобе, которую они позднее направили властям, их встретили там “грубыми криками и угрозами”, заперли по шесть человек в крохотные бывшие кельи “со сплошными нарами, изобилующими паразитами”, запретили прогулки, отобрали книги, записки и рукописи[98]. Комендант Пертоминского лагеря Бачулис пытался сломить волю заключенных: их лишали света и удовлетворительного отопления, в подошедшего к окну арестанта могли выстрелить[99]. В ответ заключенные начали новую длительную кампанию голодовок и письменных жалоб. Напоследок они потребовали увезти их из лагеря, где, утверждали они, свирепствовала малярия[100].

В свою очередь, лагерные начальники жаловались на таких заключенных. Один из них сообщал Дзержинскому, что в его лагере белогвардейцы, считающие себя политзаключенными, чрезвычайно затрудняют работу администрации[101]. Некоторые начальники брали дело в свои руки. В апреле 1921 года группа заключенных в Пертоминске отказалась работать

---

[95] *Letters from Russian Prisons.* P. 1–15.

[96] Ibid. P. 20–28.

[97] Ibid. P. 162–165.

[98] Ibid.; *Заявления политзаключенных…*

[99] *Letters from Russian Prisons.* P. 162–165.

[100] *Заявления политзаключенных…*

[101] *Заявления политзаключенных…*

и потребовала увеличения пайка. Разъяренные таким неподчинением, архангельские власти приказали расстрелять 70 заключенных, что и было сделано[102].

Иной раз, однако, власти выбирали другой путь и спокойствия ради исполняли требования социалистов. Берта Бабина, член партии эсеров, вспоминала свое появление в так называемом социалистическом корпусе Бутырской тюрьмы в Москве как радостную встречу с друзьями, с товарищами “по петербургскому подполью, по студенческим годам, по работе в разных городах во время наших скитаний”. Заключенным в тюрьме было предоставлено полное самоуправление. Они проводили утреннюю гимнастику, организовали оркестр и хор, устроили “клуб” со свежими газетами и журналами (включая издававшийся за границей “Социалистический вестник”), пользовались богатой библиотекой. По традиции, идущей от дореволюционных времен, каждый освобождающийся оставлял в тюрьме книги. Совет старост распределял заключенных по камерам, в одной из них на стене висел ковер, а на полу лежал коврик. Тюремная жизнь показалась Бабиной нереальной: “Ведь не могут же они нас всерьез здесь держать”[103].

Руководство ВЧК решило вести себя более серьезно. В рапорте Дзержинскому, датированном январем 1921 года, инспектор тюрем сердито докладывал, что в Бутырках мужчины общаются с женщинами, на стенах камер висят анархистские и контрреволюционные лозунги[104]. Дзержинский посоветовал ужесточить режим, но ужесточение вызвало очередные протесты заключенных.

Так или иначе, бутырская идиллия вскоре кончилась. Как сказано в письме, направленном властям группой эсеров, однажды в апреле 1921 года между тремя и четырьмя часами утра в камеры ворвались вооруженные люди. Заключенных избивали, женщин выволакивали из камер за ноги и за волосы. Позднее в документах ВЧК этот “инцидент” трактовался как бунт вышедших из повиновения заключенных, и власти решили больше не собирать в Москве такого количества “политических”[105]. В феврале 1922-го “социалистический корпус” Бутырок прекратил существование.

Репрессии не действовали. Уступки не действовали. Даже в своих особых лагерях ВЧК не могла контролировать “особый контингент” заключенных. Несмотря на все усилия, вести о них доходили до внешнего мира. Было ясно: необходимо другое решение как для социалистов, так и для других непокорных арестантов. К весне 1923 года решение было найдено: Соловки.

---

[102] Дойков.

[103] Бабина-Невская Берта. *Первая тюрьма (февраль 1922 года) // Доднесь тяготеет*. Вып. 1. С. 139.

[104] РГАСПИ, ф. 76, с. 3, д. 149.

[105] РГАСПИ, ф. 76, с. 3, д. 227; Hoover, с. 89, 73/25, 26, 27.

Глава 2
Первый лагерь ГУЛАГа

Меж людей тех, как меж нами,
Буржуа есть с бедняками,
Есть монахи и попы,
Проститутки и воры.
Есть князья там и бароны,
Но с них сбиты их короны.

Из стихотворения неизвестного заключенного, написанного на Соловецких островах. 1926 год[106]

Глядя вниз с колокольни в дальней части старого Соловецкого монастыря, и сегодня можно увидеть строения, составлявшие Соловецкий концентрационный лагерь. Массивная каменная стена Соловецкого кремля окружает центральный комплекс церквей и монастырских зданий XV века, где после создания лагеря располагались его администрация и основная часть заключенных. На западе – пристань, где сейчас стоят лишь несколько рыбацких лодок, а в свое время толпились заключенные, которых в короткую северную навигацию доставляли морем еженедельно, а то и ежедневно. Дальше простирается Белое море. Путь от Кеми – пересыльного лагеря на материке – занимал несколько часов. Морское путешествие от Архангельска длится целую ночь.

На севере можно разглядеть очертания Секирной горы с церковью, в которой был устроен знаменитый соловецкий штрафной изолятор. На востоке – построенная заключенными электростанция, она работает по сей день. За ней – участок земли, где располагалась биостанция. Здесь в начальный период существования лагеря некоторые заключенные экспериментировали, пытаясь определить, какие культуры можно выращивать в здешних условиях.

[106] Экран. № 12. 27 марта 1926 года.

Соловецкий архипелаг в Белом море

А дальше – другие острова Соловецкого архипелага: Большая Муксалма, где заключенные разводили черно-бурых лисиц; Анзер, где жили особые категории заключенных – инвалиды, женщины с детьми и бывшие монахи; Заяцкий остров, где находился женский штрафной изолятор[107]. Неслучайно Солженицын для описания советской лагерной системы использовал метафору архипелага. Первый советский лагерь, создававшийся всерьез и надолго, Соловецкий лагерь вырос на настоящем архипелаге, забирая себе остров за островом, церковь за церковью, здание за зданием.

Монастырский комплекс и в старину исполнял тюремные функции. С XVI века соловецкие монахи, верные слуги царя, стерегли здесь “впавших в ересь” священников и опальных дворян[108]. Теперь же то, что некогда привлекало сюда склонных к уединению монахов, – безлюдье, высокие монастырские стены, холодные ветра и чайки – пробудило воображение большевиков. Уже в мае 1920 года газета “Известия Архангельского губернского ревкома и Архгубкома РКП/б” описывала острова как идеальное место для трудового лагеря: “суровая природная обстановка, трудовой режим, борьба с природой будут хорошей школой для всяких порочных элементов”. Первые заключенные начали прибывать летом того же года[109].

---

[107] О географии и истории Соловецкого архипелага см.: Мельник, Сошина, Резникова и Резников.

[108] *Соловецкая монастырская тюрьма* // Соловецкое общество краеведения. Вып. VII. 1927 (СКМ).

[109] Бродский, Ю. С. 38.

Архипелагом заинтересовалось и более высокое начальство. По-видимому, сам Дзержинский убедил советское правительство постановлением от 13 октября 1923 года передать ОГПУ конфискованные монастырские здания наряду со зданиями монастырей в Пертоминске и Холмогорах. Так возник Соловецкий лагерь особого назначения (сокращенно – СЛОН)[110].

В фольклоре лагерников Соловки навсегда остались "первым лагерем ГУЛАГа"[111]. Хотя исследователи указывали, что к тому времени уже действовало немало тюрем и лагерей, Соловки, несомненно, заняли особое место не только в памяти бывших заключенных, но и в памяти сотрудников советских "органов"[112]. Пусть Соловки и не были в 1920-е годы единственной тюрьмой страны, это была *их* тюрьма, тюрьма ОГПУ, где начальство училось извлекать доход из рабского труда. В 1945-м в лекции по истории советских лагерей В. Г. Наседкин, который тогда возглавлял ГУЛАГ, заявил, что в 1920 году Соловки положили лагерной системе начало и что в 1926-м именно там зародилась вся советская система "трудового использования как метода перевоспитания"[113].

Заявление на первый взгляд кажется странным: ведь принудительный труд с 1918 года был в Советской России признанным средством наказания. Его можно понять, если проследить за развитием представлений о принудительном труде на самих Соловках. Ибо хотя заключенные там трудились, их труд поначалу не был организован ни в какую "систему". Нет указаний и на то, что он приносил значимый доход.

Прежде всего, одна из двух главных категорий соловецких заключенных поначалу не трудилась вовсе. Это были примерно 300 "политических" из социалистов, которых начали привозить в июне 1923-го. Переведенные из Пертоминска, а также из Бутырок и других тюрем Москвы и Петрограда, они были сразу же размещены в Савватиевском скиту в нескольких километрах от главного монастырского комплекса. Теперь надзиратели могли быть уверены, что социалисты изолированы от других заключенных и не заразят их склонностью к голодовкам и другим формам протеста.

Первое время социалисты пользовались привилегиями политических заключенных, которых они так долго добивались. У них были газеты и книги, была свобода перемещения на территории, огороженной колючей проволокой, и их не заставляли работать. Каждая из главных политических группировок – левые и правые эсеры, анархисты, социал-демократы, а позднее и социалисты-сионисты – выбрала старосту и заняла свою часть монастырской гостиницы, которая, по мнению Екатерины Олицкой, молодой левой эсерки, арестованной в 1924-м, "ничем не походила на тюрьму"[114]. После месяцев в мрачной камере на Лубянке Олицкая была поражена. Вот как она описывает женскую эсеровскую камеру:

> Светлая, чистая, свежепобеленная, с двумя большими, настежь открытыми окнами, выходящими на озеро, камера была полна света и воздуха. Конечно, никаких решеток. Посреди камеры стоял небольшой, покрытый белой скатертью стол. Вдоль стен четыре топчана, аккуратно застеленные постели. У каждой по маленькому столику. На них – книги, тетради, чернильница.

"Мы хотим жить по-человечески", – объяснили Олицкой сокамерницы, разливая чай в чашки с блюдцами и ложечками и ставя на стол вазочку с сахарным песком[115]. Новопри-

---

[110] ГАРФ, ф. 5446, оп. 1, д. 2. См. также ссылку Наседкина на инициативу Дзержинского в кн. *ГУЛАГ: Главное управление лагерей*. С. 296–297.

[111] См., например: Солженицын. *Архипелаг ГУЛАГ*. Часть третья. Гл. 2 / *Мал. собр. соч.* Т. 6.

[112] О советских системах мест заключения в 20-е годы см. Jakobson.

[113] *ГУЛАГ: Главное управление лагерей*. С. 296–297.

[114] Brodsky, Juri. P. 30–31; Бродский Ю.; Олицкая. Кн. 1. С. 237–240; Мальсагов. С. 64–70.

[115] Олицкая. Кн. 1. С. 237–240.

бывшая вскоре узнала, что, хотя соловецкие “политические” болели туберкулезом и другими болезнями и жили впроголодь, они имели возможность самостоятельно организовать свой быт. Выбранные завхозы ведали хранением, приготовлением и раздачей пищи. Благодаря своему особому “политическому” статусу заключенные могли получать продуктовые посылки не только от родственников, но и от Политического Красного Креста. Хотя эта организация начала испытывать трудности (в 1922-м на ее помещение был совершен налет и ее имущество было конфисковано), ее руководителю Екатерине Пешковой, обладавшей большими связями, все еще дозволялось оказывать политзаключенным помощь. В 1923 году она отправила в Савватиевский скит целый вагон продовольствия. В октябре того же года она послала на Север одежду[116].

Так до поры до времени решалась проблема “политических”: им давали некоторые поблажки, но их постарались упечь так далеко, как только возможно. Впрочем, это решение устраивало власти недолго: советская система не терпела исключений. В любом случае возникавшие у социалистов иллюзии быстро рассеивались: на Соловках содержалась и другая, куда более многочисленная группа заключенных. “Ступив на соловецкую землю, мы все почувствовали, что у нас начинается новая, странная жизнь, – писал один из «политических». – Из разговоров с уголовниками мы узнали об ужасающем режиме, который ввело для них начальство…”[117][118]

Куда более деловито и бесцеремонно, и притом очень быстро, власти заполняли главные помещения Соловецкого кремля не столь привилегированными заключенными. От нескольких сотен в 1923 году их число к 1925-му выросло до 6000[119]. Среди них были белогвардейские офицеры и сочувствующие белым, “спекулянты”, дворяне, матросы, участвовавшие в Кронштадтском восстании, и обычные преступники. Этим категориям заключенных вряд ли доставался чай в фарфоровых чашках и сахар в вазочках. Точнее – кому-то доставался, кому-то нет, поскольку главным, что характеризовало жизнь в “общих” камерах СЛОНа в те ранние годы, была иррациональность и непредсказуемость с самого момента прибытия. В первый лагерный день, пишет в мемуарах бывший заключенный Борис Ширяев, партию новоприбывших “приветственной речью” встретил первый начальник Соловецкого лагеря Ногтев: “Вот, надо вам знать, что у нас здесь власть не советская (пауза, в рядах – изумление), а соловецкая! (Эта формула теперь широко растеклась по всем концлагерям.) То-то! Обо всех законах надо теперь позабыть! У нас – свой закон”[120].

В последующие дни и недели большая часть заключенных на своей шкуре испытывала эту “власть соловецкую”, которая была смесью преступного пренебрежения и бессистемного насилия. Условия жизни в бывших церквах и монастырских кельях были тяжелыми, и администрация ничего не делала для их улучшения. В первый вечер на Соловках, вспоминал писатель Олег Волков, ему дали место на сплошных нарах, представлявших собой длинные дощатые настилы, на которых люди лежали в ряд. Едва он лег, на него набросились клопы, которые ползли по стойкам нар “сплошными вереницами, как муравьи”. Он не мог спать и вышел на улицу – но “тут другой враг: тучи комаров. <…> С тоской глядел я на мирно спящих, покрытых клопами людей, завидовал им и… и не мог решиться лечь!”[121]

---

[116] Hoover, Nicolaevsky Collection, Box 99; Hoover, ф. 89, 73/34.

[117] Здесь и ниже цитаты из книги *Letters from Russian Prisons*, вышедшей на английском языке, при- // водятся в обратном переводе на русский. – *Прим. перев.*

[118] *Letters from Russian Prisons.* P. 165–171.

[119] Brodsky, Juri. P. 194; Бродский Ю.

[120] Ширяев. С. 30–37.

[121] Волков. С. 53–55.

Тем, кого помещали вне кремля, приходилось не лучше. Формально на Соловецком архипелаге было девять отдельных лагерей, а заключенные делились на роты. Но некоторым приходилось жить прямо в лесу[122]. Дмитрий Лихачев, будущий знаменитый филолог, увидев один из этих безымянных лесных лагерей, почувствовал себя привилегированным: “В одном из них я был и заболел от ужаса виденного. Людей пригоняли в лес, заставляли рыть траншею (хорошо, если были лопаты). Две стороны этих траншей были повыше и служили для сна”[123].

На более мелких островах центральная лагерная администрация еще слабее контролировала поведение отдельных охранников и лагерных заправил. Бывший заключенный Киселев описывает в мемуарах лагерную командировку на острове Анзер. Командировка, над которой начальствовал “чекист Ванька Потапов”, состояла из трех бараков и бывшего монастырского здания, где располагалась охрана. Заключенные валили лес. Работали без отдыха до изнеможения и получали очень мало пищи. Отчаявшись, рубили себе руки и ноги. Как утверждает Киселев, Потапов развешал по стенам бараков и показывал посетителям “ожерелья” из отрубленных пальцев и кистей рук; многих он убил своими руками и показывал ямы, где лежало более четырехсот трупов. “Никто из присланных к нему не возвращался”, – пишет о Потапове Киселев[124]. Даже если он преувеличивает, чувствуется подлинный ужас, который внушали заключенным дальние лагеря.

По всему архипелагу ужасающие санитарные условия, непосильный труд и плохое питание, разумеется, приводили к болезням, прежде всего тифу. Зимой 1925–1926 года во время памятной эпидемии из 6000 соловецких заключенных умерла примерно четверть. Согласно некоторым оценкам, смертность не снижалась и дальше: за год от недоедания, от эпидемий тифа и других болезней умирало, возможно, от четверти до половины заключенных. В одном документе говорится о 25 552 случаях заболевания тифом за зиму 1929–1930 года (соловецкие лагеря к тому времени сильно расширились)[125].

Но для некоторых Соловки оборачивались еще более мучительными испытаниями, нежели примитивные бытовые условия и болезни. На островах заключенные чаще становились жертвами садизма и бессмысленных истязаний, чем в последующие периоды существования ГУЛАГа, когда, как пишет Солженицын, “рабочий гон становится продуманной системой”[126]. Эти зверства описаны во многих воспоминаниях, но самый подробный их перечень содержится в документах комиссии, посланной из Москвы на Соловки в 1930 году для расследования злоупотреблений. Московские следователи с ужасом узнали, что соловецкие надзиратели регулярно оставляли заключенных зимой в одном белье на колокольне церкви. Людям при этом связывали сзади руки и привязывали к ним отогнутые назад до крайнего положения ноги. Так их держали до 48 часов. Заключенных сажали “на жердочки” – это были узкие скамьи, на которых люди должны были сидеть без движения по 18 часов. Если при этом ноги не доставали до пола, то они отекали. Совершенно голых людей гоняли в баню при 20-градусном морозе на расстояние до полукилометра от бараков. Заключенных кормили гнилым мясом, больным не оказывалась медицинская помощь. Людей заставляли выполнять бессмысленные приказы: перекидывать с места на место снег или прыгать в воду с моста по команде надзирателя: “Дельфин!”[127]

---

[122] Brodsky, Juri. P. 65; Бродский Ю.

[123] Лихачев. *Книга беспокойств*. С. 98–100.

[124] Бродский Ю. С. 331.

[125] Brodsky, Juri. P. 195–197; Бродский Ю.

[126] Солженицын. *Архипелаг ГУЛАГ*. Часть третья. Гл. 2 / *Мал. собр. соч*. Т. 6. С. 37.

[127] Чухин. *Каналоармейцы*. С. 40–44; *Два документа*… С. 359–388. Публикатор И. И. Чухин разъясняет, что эти два документа, приводимые полностью, входили в состав следственных дел № 885 и 877. Они хранились в петрозаводском архиве ФСБ (?), где работал Чухин.

Другой пыткой, о которой говорится как в архивных документах, так и в мемуарах, были так называемые “комарики”. Белогвардейский офицер А. Клингер, осуществивший одну из немногих успешных попыток побега с Соловков, впоследствии написал о том, как обошлись с заключенным, который потребовал выдачи реквизированной чекистом посылки с продуктами. С него сняли всю одежду и голого привязали к столбу. Дело было летом, и на него тучами набросились комары. “Через полчаса все тело несчастного было покрыто волдырями от укусов”, – пишет Клингер. Когда заключенного снимали со столба, он был “в бессознательном состоянии”[128].

Массовые убийства происходили без всякой системы, и многие заключенные жили в постоянном ужасе от возможности погибнуть в любой момент. Лихачев вспоминал, как он сам едва не стал одной из жертв массового расстрела в конце октября 1929 года. В архивных документах говорится, что тогда действительно казнили около 50 человек, обвиненных в подготовке восстания (Лихачев утверждает, что их было 300)[129].

Немногим лучше расстрела была отправка на Секирку (Секирную гору), где в церкви был устроен “штрафной изолятор”. Хотя о том, что там творилось, ходило много рассказов, с Секирки мало кто вернулся, поэтому о тамошних условиях трудно говорить с уверенностью. Один бывший заключенный описывает бригаду штрафников, идущую на работу: “…мимо нас вели истощенных, совершенно звероподобных людей, окруженных многочисленным конвоем. Некоторые были одеты, за неимением платья, в мешки. Сапог я не видел ни на одном”[130].

Как гласит соловецкая легенда, длинная деревянная лестница в 365 ступеней, которая ведет вниз с крутой Секирной горы, увенчанной церковью, сыграла свою роль в лагерных убийствах. В какой-то момент начальство запретило охранникам расстреливать заключенных, и тогда пошли “несчастные случаи”: людей стали сбрасывать с горы по ступеням[131]. Недавно потомки соловецких узников поставили у подножья лестницы, где, согласно рассказам, гибли заключенные, деревянный крест. Сейчас это мирное на вид и довольно красивое место – настолько красивое, что в конце 1990-х годов местный исторический музей напечатал новогоднюю открытку с фотографией Секирки, лестницы и креста.

Иррациональность и непредсказуемость соловецкой жизни в начале 1920-х оборачивалась для заключенных тысячами смертей, но эта же иррациональность и непредсказуемость помогала лагерникам не просто выживать, но и буквально петь и плясать. В 1923 году небольшая группа заключенных начала создавать лагерный театр. Поначалу “актеры”, многие из которых перед репетицией десять часов работали на лесоповале, не имели текстов, так что им приходилось играть классические пьесы по памяти. Театр получил мощное пополнение в 1924-м, когда появилась целая группа бывших профессиональных актеров (все они были арестованы за “контрреволюционную деятельность”). В том году были поставлены “Дядя Ваня” Чехова и “Дети солнца” Горького[132].

Позднее в соловецком театре стали исполнять оперы и оперетты, демонстрировать акробатические номера, показывать фильмы. В программу одного концерта входили музыкальные пьесы для духового оркестра, для симфонического квинтета и для хора, фрагменты из оперы[133]. Репертуар на март 1924 года включал в себя спектакль по пьесе Леонида Андреева (его сын

---

[128] Клингер. С. 210; перепечатано в журнале "Север". № 9. Сентябрь 1990. // С. 108–112. Пытка комарами упоминается, кроме того, в архивных документах (см. Звезда. Вып. 1. С. 383) и в мемуарах.

[129] Чухин. *Два документа…* С. 359; Лихачев. *Книга беспокойств*. С. 196–198.

[130] Бродский Ю. С. 204.

[131] Об этом пишут путеводители по Соловецким островам. См. также: Солженицын. *Архипелаг ГУЛАГ*. Часть третья. Гл. 2 / *Мал. собр. соч.* Т. 6. С. 24.

[132] Цыганков. С. 196–197.

[133] Лихачев. *Книга беспокойств.* С. 212.

Даниил, тоже писатель, позднее стал узником ГУЛАГа), спектакль по пьесе Гоголя и вечер памяти Сары Бернар[134].

Театр не был на Соловках единственным проявлением культурной жизни. В лагере была библиотека, число книг в которой с годами дошло до 30 000, и "биосад", где заключенные экспериментировали с северной флорой и фауной. Соловецкие заключенные, среди которых было много бывших ученых из Петербурга, создали также музей местной флоры, фауны, искусства и истории[135]. Соловецкая "элита" посещала "клуб", который на фотографии выглядит по-буржуазному уютным. Пианино, паркетный пол – и портреты Маркса, Ленина и Луначарского[136].

Используя старое монастырское литографское оборудование, соловецкие заключенные издавали газеты и ежемесячные журналы, где помещали стихи, полные тоски по дому, карикатуры и на удивление откровенную прозу. В декабрьском номере журнала "Соловецкие острова" за 1925 год можно было прочесть рассказ о бывшей актрисе, которую заставили на Соловках работать прачкой. Героиня никак не может приспособиться к новой жизни. Рассказ заканчивается ее плачем: "Все кончено, у-у-у, Соловки проклятые!".

В другом рассказе "старый барин", который в прошлом посещал "интимные вечера в круглой гостиной Зимнего дворца", находит на Соловках утешение только в разговорах с другим таким же "барином" о былых временах[137]. Клише соцреализма явно не стали еще обязательными. Не у всех рассказов счастливый конец, не все вымышленные заключенные радостно перековываются в советских людей.

В соловецких журналах печатались и исследовательские материалы – от работы Лихачева о картежных играх уголовников до статей об искусстве и об архитектуре оскверненных церквей Соловецкого монастыря. За 1926–1929 годы типография СЛОНа опубликовала двадцать девять изданий трудов Соловецкого общества краеведения. Общество изучало флору и фауну островов, делая особый упор на некоторых видах, в частности на северном олене. Печатались статьи об изготовлении кирпича, направлениях ветра, полезных минералах и пушном деле. Последнее заинтересовало некоторых заключенных настолько, что в 1927 году, в разгар экономической деятельности на острове, они добились завоза черно-бурых лисиц из Финляндии для улучшения местной породы. Помимо прочего, общество краеведения провело геологические исследования, результатами которых директор местного музея пользуется до сих пор[138].

Заключенные из числа более привилегированных участвовали по случаю новых советских праздников в торжествах, из которых лагерников последующих поколений сознательно исключали. Заметка в сентябрьском номере "Соловецких островов" за 1925 год описывает празднование Первого мая. Увы, погода была неважная:

> Первого мая почти по всему Союзу цветы цветут, а на Соловках еще море от льда не очистилось и снега лежит достаточно.
>
> А все-таки торжественен и строен пролетарский праздник.
>
> С самого раннего утра в общежитии волнение.
>
> Чистятся. Бреются. Кто починкой одежды занят, кто сапоги "до третьего блеска" наяривает[139].

---

[134] СЛОН. № 3. Май 1924 года (ГАРФ).

[135] Ширяев. С. 115–132; Лихачев. *Книга беспокойств*. С. 201–205. См. также книги и журналы в СКМ.

[136] СЛОН. № 3. Май 1924 года (ГАРФ).

[137] Соловецкие острова. № 12. Декабрь 1925 года (СКМ).

[138] Из разговора с директором СКМ Татьяной Фокиной 12 сентября 1998 года. См. также, например: Соловецкие острова. 1925. № 1–7; Соловецкие острова. 1930. № 1; бюллетени Соловецкого общества краеведения в собрании музея и в АКБ. См. также: Дряхлицын.

[139] Соловецкие острова. № 9. Сентябрь 1925 года. С. 7–8 (СКМ).

Куда сильней удивляет, если иметь в виду порядки последующих лет, отправление религиозных обрядов на островах. Бывший заключенный В. А. Казачков вспоминает:

> Пасху 1926 года я очень хорошо помню. Незадолго до нее новый начальник Управления потребовал, чтобы все, кто хочет ходить в церковь, подали ему заявления. Почти никто из заключенных не подавал заявлений – боялись последствий. Но вот перед Пасхой огромное количество людей подали заявления. <…> По дороге к кладбищенской Онуфриевской церкви двигалась огромная процессия, люди шли в несколько рядов. В церкви все, конечно, не поместились. Стояли вокруг, а тем, кто пришел позднее, не было слышно пения[140].

Даже лагерный журнал “СЛОН” в майском номере за 1924 год поместил статью, где о Пасхе осторожно, но вполне определенно говорилось как о старинном празднике весны, который можно отмечать и в советском государстве[141].

На Соловках, к изумлению многих, до конца 1920-х годов продолжало жить небольшое количество монахов. Возможно, они исполняли роль “инструкторов”, передавая заключенным свои богатые земледельческие и рыболовные навыки (соловецкая сельдь в прошлом шла на царский стол) и знакомя их со сложной системой старинных каналов между озерами. В лагерь привозили и заключенных из числа духовенства – тех, кто возражал против конфискации церковного имущества или нарушал декрет об отделении церкви от государства и школы от церкви. Духовенству, как и социалистам, позволяли жить отдельно, и оно до 1930–1931 годов могло посещать богослужения в маленькой церкви на кладбище. Другие лагерники, помимо особых случаев, такого права не имели.

Эти “привилегии” порождали определенное недоброжелательство и служили причиной эпизодических трений между духовенством и обычными заключенными. Одна женщина, после рождения ребенка переведенная в особый “мамочный” лагерь на остров Анзер, вспоминала, что монахини на острове “держались от нас, неверующих, на большом расстоянии. Они были злые, детей не любили, нас ненавидели”. Однако другие духовные лица, как пишут многие мемуаристы, вели себя прямо противоположным образом: активно проповедовали Евангелие и всячески помогали как обычным, так и политическим заключенным[142].

Те, у кого были деньги, могли купить себе освобождение от тяжелой работы в лесу и застраховаться от пыток и насильственной смерти. В Кеми, где находился один из Соловецких лагерей, между прочим, был ресторан, в котором нелегально обслуживали и заключенных. За взятки они могли получать с материка еду[143]. В какой-то момент администрация даже открыла на острове небольшие магазины, торговавшие продуктами и одеждой по ценам в полтора-два раза выше общесоветских[144]. Одним из тех, кто, по рассказам, выкупил себя из беды, был “граф Виоляро”, сумасбродная личность, чье имя в разнообразной транскрипции фигурирует в нескольких мемуарах. Граф, которого называли “мексиканским консулом в Египте”, опрометчиво отправился после революции в Тифлис к родственникам своей жены-грузинки. И он, и его жена были арестованы и отправлены на север. Вначале им не давали на Соловках больших поблажек и графине приходилось работать прачкой, но затем, гласит лагерная легенда, граф за 5000 рублей купил себе право жить вместе с женой в отдельном доме, где в их распоряжении были лошадь и слуга[145]. Писали также про богатого индийского коммерсанта

---

[140] Резникова. С. 46–47.

[141] СЛОН. № 3. Май 1924 года (ГАРФ).

[142] Резникова. С. 7–36; Hoover, Melgunov collection, Box 7, Folder 44.

[143] Анциферов. С. 341.

[144] Клингер. С. 170–177.

[145] Там же. С. 200–201; Мальсагов. С. 74–75; Розанов. С. 55; Hoover, Melgunov Collection, Box 7.

из Бомбея, которого вызволило с Соловков британское консульство в Москве. Его мемуары впоследствии были опубликованы в эмигрантской печати[146].

Эти и другие примеры относительно легкой жизни и быстрого освобождения богатых заключенных были настолько разительны, что в 1926 году группа менее привилегированных лагерников отправила в президиум ЦИК ВКП(б) жалобу на "произвол и насилие, царящие в Соловецком концлагере". Используя "пролетарскую" фразеологию, рассчитанную на то, чтобы подействовать на коммунистическое руководство, они писали: "Люди, имеющие деньги, устраиваются за те же деньги, и вся тяжесть ложится на рабочих и крестьян, к несчастью не имеющих денег". Если богатые, говорилось в письме, покупают себе право на легкую работу, то безденежные работают по 14–16 часов[147]. Как выяснилось, авторы письма не были единственными, у кого соловецкие произвол и непредсказуемость вызывали недовольство.

Если заключенных волновали лагерная несправедливость и хаотические всплески насилия, то советское руководство было озабочено по иной причине. К середине 20-х годов стало ясно, что соловецкие лагеря, как и "обычные" лагеря и тюрьмы, не продвигаются к самой важной из поставленных целей – самоокупаемости[148]. Начальники концлагерей, как "обычных", так и "особого назначения", постоянно требовали у государства денег.

В этом Соловки напоминали другие советские лагеря того времени. На островах из-за особого характера заключенных и надзирателей контраст между жестокостью и комфортом был, вероятно, резче, чем в других местах, но в целом подобная неупорядоченность царила в те годы в лагерях и тюрьмах по всему Советскому Союзу. В теории обычная система мест лишения свободы тоже состояла из трудовых "колоний" при сельскохозяйственных предприятиях, заводах и фабриках, и их экономическая деятельность тоже была плохо организована и убыточна[149]. В 1928 году в инспекторском отчете об одном таком лагере в сельской Карелии (59 заключенных, 7 лошадей, 2 свиньи и 21 корова) говорилось, что только у половины заключенных есть одеяла, что лошади не ухоженны (а одну самовольно продали цыгану), что надзиратели регулярно используют лошадей для своих нужд, что, когда лагерного кузнеца освободили, он унес с собой все инструменты, что лагерные помещения, за исключением жилища начальника, не имеют ни отопления, ни теплоизоляции. Мало того, этот начальник проводит три-четыре дня в неделю вне лагеря, часто самовольно отпускает заключенных, упрямо отказывается учить лагерников агрономии и открыто заявляет, что не верит в их перевоспитание. Некоторые заключенные живут в лагере с женами; охранники пьянствуют[150]. Неудивительно, что центральные власти дали карельскому руководству нагоняй за непонимание социального значения принудительного труда[151].

Такие лагеря, как свидетельствуют документы, с самого начала были явно убыточны. В июле 1919 года руководители гомельской ЧК послали Дзержинскому письмо с требованием срочной субсидии в 500 000 рублей: сооружение местного концлагеря застопорилось из-за недостатка средств[152]. В 1920-е годы различные министерства и ведомства, оспаривавшие контроль за лагерями, бились не только за власть, но и за деньги. Для разгрузки тюрем и лагерей периодически объявлялись амнистии, главной из которых стала амнистия 1927 года, приуроченная к десятой годовщине Октябрьской революции. Тогда из "обычных" мест заключения

---

[146] Цыганков. С. 96–127; Hoover, Melgunov Collection, Box 7.

[147] *История отечества в документах.* Часть вторая. С. 51–52.

[148] Jakobson. P. 70–102.

[149] Красильников. *Рождение ГУЛАГа.* С. 142–143. Это собрание документов, касающихся возникновения ГУЛАГа, подлинники которых хранятся в Архиве Президента Российской Федерации, обычно закрытом для исследователей.

[150] НАРК.

[151] НАРК.

[152] РГАСПИ, ф. 17, оп. 3, д. 65.

было выпущено более 50 000 человек (главным образом из-за нехватки помещений и ради экономии)[153].

К 1925 году необходимость более эффективного использования заключенных была осознана на высшем уровне. 10 ноября заместитель председателя ВСНХ СССР Г. Л. Пятаков писал Дзержинскому: "…я пришел к заключению о необходимости организации в некоторых местах принудительных поселений в целях создания мало-мальски элементарных культурных условий работы. Вероятно, с точки зрения разгрузки мест заключения эти вопросы точно так же имеют некоторый интерес. Я просил бы поручить ГПУ заняться этими вопросами…" Далее Пятаков перечислил четыре района, настоятельно требовавших развития: Сахалин, устье Енисея, Киргизская степь (территория современного Казахстана) и окрестности Нерчинска (всюду позднее были построены лагеря). Дзержинский одобрил предложение и поручил двум сотрудникам ОГПУ подготовить по этому вопросу заключение[154].

Поначалу, однако, ничего не произошло – возможно, потому, что Дзержинский вскоре умер. Тем не менее предложение Пятакова стало предвестьем перемен. До середины 1920-х годов советское руководство колебалось: в чем состоит главная задача тюрем и лагерей – в перевоспитании заключенных, в их наказании или в извлечении прибыли? Теперь ведомства, имевшие отношение к концлагерям, медленно приходили к согласию: места заключения должны окупать себя. К концу десятилетия на смену хаотическому миру послереволюционных советских тюрем и лагерей должна была прийти новая система. Соловки должны были стать не только организованным экономическим предприятием, но и образцовым лагерем, примером, тысячекратно копируемым по всему Советскому Союзу.

Важность Соловков, пусть даже вначале ее не сознавали, в ретроспективе стала вполне ясна. В 1930 году, отчитываясь на Соловках перед партийным собранием, местный начальник Успенский заявил, что именно опыт Соловецкого лагеря привел партию и правительство к мысли о создании общегосударственной системы исправительно-трудовых лагерей[155].

Как показывает докладная записка Пятакова Дзержинскому, в определенной мере эти перемены планировались на самом верху. Однако детали новой системы – новые методы управления лагерями, способы организации заключенных, режим их труда – разрабатывались на самих Соловецких островах. Да, в середине 20-х на Соловках царили хаос и произвол, но из этого хаоса и произвола родилась система ГУЛАГа.

Одной из движущих сил перемен на Соловках, отчасти определившей характер этих перемен, был Нафталий Аронович Френкель – бывший заключенный, который стал одним из самых влиятельных соловецких начальников. Солженицын в "Архипелаге ГУЛАГ" утверждает, что именно Френкель первым предложил кормить заключенных в зависимости от результатов их труда. Эта смертельная система, убивавшая более слабых лагерников за считаные недели, впоследствии стоила жизни огромному числу людей. С другой стороны, ряд российских и западных историков оспаривает роль Френкеля и считает, что многие истории о его всесилии – это легенды, и не более того[156].

Скорее всего, Солженицын действительно преувеличил значение Френкеля: люди, побывавшие в большевистских лагерях раннего периода, еще до Соловков, тоже вспоминали о питании "по выработке", и в любом случае эта идея, можно сказать, лежит на поверхности и вряд ли зародилась в голове только одного человека[157]. Тем не менее документы из недавно открытых

---

[153] *Система ИТЛ в СССР*. С. 18.

[154] Иванова. *ГУЛАГ в системе тоталитарного государства*. С. 83–85.

[155] ГАОПДРФК, ф. 1033, оп. 1, д. 35.

[156] Jakobson. P. 121; разговоры в 1998 и 1999 годах с Никитой Петровым, Олегом Хлевнюком и Юрием Бродским. В итальянском издании книги Бродского Френкель не упоминается.

[157] Например, Клементьев; Елисеев С. Г. *Тюремный дневник* / *Уроки гнева и любви*. С. 30–32.

архивов, и в первую очередь архивов Карельской АССР, показывают, что Френкель и вправду играл важную роль. Даже если он и не разработал систему во всех деталях, он нашел способ превратить лагерь в доходное (по крайней мере, по видимости) экономическое предприятие и сделал это в такой момент, в таком месте и таким образом, что вполне мог привлечь к своим достижениям внимание Сталина.

Расхождениям по поводу Френкеля трудно удивляться. Его имя появляется во многих воспоминаниях о лагерях раннего периода, и эти воспоминания показывают, что уже при жизни этот человек был окутан легендой. На официальных фотографиях – подчеркнуто зловещее лицо, фуражка, аккуратно подстриженные усики; один мемуарист вспоминает, что Френкель одевался как денди[158]. Один из восхищавшихся им соратников по ОГПУ расхваливал его великолепную память и способность делать расчеты в уме: “Никогда в жизни, кажется, он не писал бумаг: у него не было даже ручки”[159]. Позднее советская пропаганда называла его “блестящим знатоком древесины и вообще лесного дела”, расписывала “совершенно невероятную емкость его памяти”, его опыт в сельском хозяйстве и инженерии, его эрудицию:

Однажды в поезде он ввязался в разговор двух работников треста ТЭЖЭ и заставил их замолчать, так как проявил исключительные познания в парфюмерном деле и оказался даже знатоком мирового рынка и обонятельных симпатий малых народностей на Малайских островах[160].

Кое-кто, однако, ненавидел и боялся его. В 1928 году на ряде специальных собраний соловецкой партийной ячейки коллеги Френкеля обвиняли его в создании своей личной шпионской сети[161]. За год до этого рассказы о нем достигли Парижа. В одной из первых книг о Соловках французский антикоммунист Р. Дюге писал о Френкеле, что “из-за его бесчеловечных нововведений уделом миллионов несчастных стали непосильный труд и жестокие страдания”[162].

Современники расходились и по вопросу о его происхождении. Солженицын назвал его турецким евреем, родившимся в Константинополе[163]. Другой автор утверждает, что он был “крупным венгерским фабрикантом”[164]. Ширяев писал, что он родом из Одессы, другие – что он из Австрии, из Палестины, что он работал на заводе Форда в Америке[165]. Некоторую ясность вносит его тюремная регистрационная карточка, где говорится, что он родился в Хайфе в 1883 году (Палестина входила тогда в состав Османской империи). Оттуда (возможно, через Одессу, возможно, через Австро-Венгрию) он прибыл в Советский Союз, где называл себя “коммерсантом”[166]. В 1923-м его арестовали за нелегальное пересечение границы. Это может означать либо то, что он занимался контрабандой, либо что он добился как коммерсант слишком больших успехов, которых советская власть не пожелала терпеть. Его приговорили к десяти годам лагерей и отправили на Соловки[167].

Как именно Нафталий Френкель превратился из заключенного в одного из начальников СЛОНа, тоже не вполне ясно. Согласно легенде, оказавшись в лагере, он был настолько

---

[158] Ширяев. С. 138.

[159] Чухин. *Каналоармейцы*. С. 30–31.

[160] *Беломорско-Балтийский канал*. С. 328.

[161] ГАОПДФРК, ф. 1033, оп. 1, д. 35.

[162] Duguet. P. 75.

[163] Солженицын. *Архипелаг ГУЛАГ*. Часть третья. Гл. 3 / *Мал. собр. соч.* Т. 6. С. 54.

[164] Мальсагов. С. 39.

[165] Ширяев. С. 137–138; Розанов. С. 174–191; Наринский. *Время тяжких потрясений*. С. 128–149.

[166] Розанов. С. 174–191; Ширяев. С. 137–148.

[167] Тюремная регистрационная карточка Френкеля, Hoover, St. Petersburg Memorial Collection.

потрясен плохой организацией дела, бессмысленной тратой денег и сил, что сел и написал очень подробные предложения, где точно указал, что именно не выдерживает критики в каждом из лагерных производств, включая заготовку леса, сельское хозяйство и кирпичное дело. Он опустил предложения в лагерный "ящик для жалоб", после чего они привлекли внимание одного из начальников, и тот послал их как диковинку Генриху Ягоде, быстро поднимавшемуся по служебной лестнице в советских "органах" и впоследствии возглавившему НКВД СССР. Ягода якобы пожелал немедленно встретиться с автором. Как утверждает один из современников (и Солженицын, который не называет источника), Френкель сам заявлял, что его возили из лагеря в Москву, где он излагал свои идеи Сталину и Кагановичу[168]. Эта часть легенды наиболее туманная: хотя документы показывают, что в 30-е годы Френкель действительно встречался со Сталиным, и хотя Сталин пощадил его в годы партийных чисток, о посещении им Сталина в 1920-е годы сведений пока не найдено. Но это не означает, что такой встречи не было: возможно, документы просто не сохранились[169].

Эти сообщения косвенно подтверждаются некоторыми обстоятельствами. К примеру, быстрота, с какой Френкеля перевели из заключенных в начальники, удивительна даже с учетом царившего в СЛОНе хаоса. В ноябре 1924-го, когда Френкель находился в лагере менее года, администрация СЛОНа уже ходатайствовала о его освобождении. Ходатайство было удовлетворено в 1927-м. Тем временем лагерная администрация регулярно отправляла в ОГПУ письма, превозносившие Френкеля до небес[170].

Мы также знаем, что Френкель создал и затем возглавил "экономическо-коммерческую часть" СЛОНа. В новом качестве он постарался добиться для соловецких лагерей не только самоокупаемости, которой требовали положения о лагерях принудительных работ, но и подлинной прибыльности – вплоть до того, что лагеря стали отбирать работу у других предприятий. Хотя эти предприятия были государственными, в 1920-е годы в советской экономике сохранялись элементы конкуренции, и Френкель этим воспользовался. Уже в сентябре 1925-го СЛОН, экономическим руководителем которого стал Френкель, добился права вырубить 130 000 кубометров карельского леса, оттеснив лесозаготовительное предприятие обычного типа. СЛОН также стал акционером Коммунального банка Карелии и вступил в борьбу за право построить дорогу от Кеми до Ухты[171].

С самого начала карельские власти были недовольны этой деятельностью. Они вообще были против создания лагеря на Соловках[172]. Впоследствии их протесты стали звучать громче. На собрании, созванном по поводу расширения СЛОНа, местные власти пожаловались, что лагерь несправедливо поставлен в более выгодное положение, чем обычные лесозаготовительные предприятия, поскольку пользуется дешевой рабочей силой. Позднее стали звучать и более серьезные обвинения. В феврале 1926 года на заседании Совнаркома Карелии некоторые местные руководители подвергли СЛОН резкой критике, утверждая, что лагерная администрация требует слишком много денег за постройку тракта Кемь – Ухта. Один из выступавших гневно назвал СЛОН "коммерсантом", чья главная цель – извлечение прибыли[173].

Кроме того, звучали возражения против решения СЛОНа открыть в Кеми свой магазин. Государственное торговое предприятие не могло этого себе позволить, но лагерная администрация имела возможность использовать дешевый – почти дармовой – труд заключенных[174].

---

[168] Чухин. *Каналоармейцы.* С. 30–31; Солженицын. *Архипелаг ГУЛАГ*. Часть третья. Гл. 3 / *Мал. собр. соч*. Т. 6. С. 55.

[169] См.: *Посетители кабинета И. В. Сталина* // Исторический архив. № 4. 1998. С. 180.

[170] Hoover, St. Petersburg Memorial Collection.

[171] НАРК.

[172] Baron. P. 615–621.

[173] НАРК.

[174] Там же.

Мало того – власти жаловались, что особые связи с ОГПУ позволяют СЛОНу не считаться с местными правилами и не отчислять денег в региональный бюджет[175].

Споры о прибыльности, эффективности и справедливости в связи с использованием принудительного труда велись еще четверть века (далее в этой книге мы обсудим их более детально). Так или иначе, в середине 1920-х годов карельские власти потерпели в этих спорах поражение. В датированных 1925 годом отчетах об экономическом положении соловецких лагерей Федор Эйхманс (в то время заместитель Ногтева, позднее он возглавит лагерь) хвастался экономическими достижениями СЛОНа, заявляя, что кирпичный завод, ранее находившийся в жалком состоянии, теперь процветает, что план по лесозаготовкам перевыполняется, что постройка электростанции окончена, что улов рыбы удвоился[176]. Перепевы этих отчетов публиковались затем как в соловецкой печати, так и в общедоступных советских изданиях[177]. Там содержались точные подсчеты: в одном отчете дневной рацион заключенного оценивался в 29 копеек, расходы на его одежду за год – в 34 рубля 57 копеек. Общая годичная стоимость содержания одного заключенного, включая медицинское обслуживание и транспорт, равнялась 211 рублям 67 копейкам[178]. Хотя в 1929 году лагерный бюджет испытывал дефицит в 1,6 млн рублей[179] (вполне возможно, потому, что часть денег прикарманило ОГПУ), об экономических успехах Соловков продолжали трубить вовсю.

Эти успехи вскоре стали главным доводом в пользу перестройки всей советской системы мест заключения. Если результаты были достигнуты ценой уменьшения рационов и ухудшения условий жизни заключенных – ничего страшного[180]. Если они были достигнуты ценой ухудшения отношений с местными властями – не беда.

В самих лагерях мало кто затруднялся назвать человека, ответственного за эти “успехи”. Все без колебаний связывали коммерциализацию лагеря с именем Френкеля, и многие ненавидели его за это. В 1928 году на бурном собрании парторганизации Соловков – настолько бурном, что часть его протоколов недоступна до сих пор, – один из лагерных руководителей пожаловался, что экономическо-коммерческая часть СЛОНа приобрела слишком большое влияние. Он атаковал и лично Френкеля, ставшего, по его мнению, слишком незаменимым (его лексика здесь отдает антисемитизмом). Другие интересовались, почему Френкель, бывший заключенный, обслуживается ларьками СЛОНа в первоочередном порядке и по низким ценам. Кое-кто заявлял, что соловецкие лагеря в погоне за коммерческой выгодой пренебрегают другими задачами: работа по перевоспитанию заброшена, заключенных нещадно эксплуатируют. Случаи членовредительства ради освобождения от работы не расследуются[181].

Однако точно так же, как соловецкие лагеря одержали верх в споре с карельскими властями, Френкель, возможно благодаря своим московским связям, выиграл внутрилагерный спор о том, какими должны стать Соловки, как заключенные будут там работать и как с ними будут обращаться.

Как уже было сказано, вряд ли именно Френкель изобрел пресловутую систему “хлеб по выработке”, когда заключенных кормили в зависимости от результатов их работы. Однако он ответствен за развитие и процветание этой системы, за перерастание “оплаты” труда пайком, имевшей место от случая к случаю, в очень четкий, отрегулированный метод распределения пищи и организации лагерной жизни.

---

[175] Куликов. С. 99.

[176] ГАОПДФРК, ф. 1033, оп. 1, д. 15.

[177] Ногтев. *УСЛОН*. С. 55–60; Ногтев. *Соловки*. 1926. С. 4–5.

[178] Бродский Ю. С. 126.

[179] О соловецком дефиците см.: Хлевнюк. *Принудительный труд…*; см. также ГАОПДФРК, ф. 1051, оп. 1, д. 1.

[180] Baron. P. 624.

[181] ГАОПДФРК, ф. 1033. оп. 1. д. 35.

Система Френкеля была совершенно неприкрытой. Он разделил заключенных СЛОНа на три категории в зависимости от физических данных: способные к тяжелой работе, способные к легкой работе и инвалиды. Каждая категория получала свои задания и должна была выполнять свои нормы. Кормили соответственно, причем разница рационов была очень велика. В одной таблице, составленной между 1928 и 1932 годами, заключенному первой категории отводится в день 800 г хлеба и 80 г мяса, заключенному второй категории – 500 г хлеба и 40 г мяса, заключенному третьей категории – 400 г хлеба и 40 г мяса. Таким образом, низшая категория потребляла вдвое меньше пищи, чем высшая[182].

На практике эта система очень быстро разделяла лагерников на тех, кто выживет, и тех, кто нет. Более крепкие, которых неплохо кормили, становились еще крепче. Более слабых недостаточное питание делало еще слабее, и в конце концов они заболевали или умирали. Ускоряло этот процесс то, что трудовые нормы часто были очень высокими, невыполнимыми для многих заключенных, особенно для бывших горожан, не привыкших добывать торф и валить лес. В 1928 году центральные власти наказали группу лагерных охранников за то, что они заставили 128 заключенных зимой работать в лесу целую ночь, чтобы дать норму. Месяц спустя 75 процентов этих заключенных все еще страдали от жестоких обморожений[183].

При Френкеле изменился и характер работ в СЛОНе: его не интересовали такие экзотические безделицы, как пушное хозяйство и выращивание арктических растений. Вместо этого он посылал заключенных строить дороги и валить лес, благо в бесплатной неквалифицированной рабочей силе недостатка не было[184]. Перемены в характере работы быстро повлекли за собой перемены в характере самого лагеря, точнее – лагерей, потому что опыт СЛОНа начал распространяться далеко за пределы Соловецкого архипелага. В частности, Френкеля не интересовало, содержатся ли заключенные в тюремной обстановке, в тюремных помещениях, за колючей проволокой. Он посылал бригады лагерников работать по всей Карелии и Архангельской области за сотни километров от Соловков – туда, где они были наиболее нужны[185].

Как менеджер, спасающий убыточную компанию, Френкель “рационализировал” и другие стороны лагерной жизни, постепенно ликвидируя все, что не служило производству. Вся видимость перевоспитания быстро исчезла. Критики Френкеля жаловались, что он закрыл лагерные газеты и журналы, прекратил заседания Соловецкого общества краеведения. Правда, соловецкий музей и театр продолжали существовать, но только для показухи, ради приезжих важных персон.

Вместе с тем беспорядочных вспышек зверства стало меньше. В 1930 году на Соловки приехала комиссия Шанина от ОГПУ, задачей которой было расследовать сообщения о дурном обращении с заключенными. Отчеты комиссии содержат сведения об избиениях и издевательстве над людьми. Вступая в удивительное противоречие с прежней “политикой”, комиссия приговорила к расстрелу девятнадцать человек из лагерной администрации[186]. Их поведение не годилось для лагеря, превыше всего ценившего теперь *трудоспособность*.

И наконец, при Френкеле навсегда изменилось понятие о “политическом заключенном”. Осенью 1925-го искусственная черта, разделявшая уголовников и “контрреволюционеров”, была стерта: и тех и других вместе послали на материк на лесозаготовки. В СЛОНе не стало привилегированных заключенных: всех рассматривали как рабочую силу[187].

---

[182] Бродский Ю. Р. 126.

[183] Brodsky, Juri. P. 114; Бродский Ю.

[184] Brodsky, Juri. P. 195; Бродский Ю.

[185] НАРК.

[186] Чухин. *Два документа…*

[187] Brodsky, Juri. P. 115; Бродский Ю.

Правда, с социалистами, содержавшимися в Савватиевском скиту, дело обстояло сложней. Они не вписывались ни в какие представления об экономической эффективности, поскольку в принципе отказывались выполнять какую бы то ни было принудительную работу. Отказывались даже заготавливать для себя дрова. “Нас выслали административным порядком, – заявил один из них, – и пусть теперь администрация обеспечит нас всем необходимым”[188]. Неудивительно, что их бесчисленные претензии вызывали раздражение лагерной администрации, в частности начальника лагеря Ногтева, хотя весной 1923 года именно он вел переговоры с “политическими” в Пертоминске и лично пообещал им более свободный режим на Соловках, если они не будут сопротивляться переводу туда. На новом месте “политические” спорили с начальством о свободе передвижения, о праве на медицинское обслуживание и на переписку с внешним миром. И вот 19 декабря 1923 года в разгар споров о режиме конвоиры открыли огонь по заключенным у Савватиевского скита и убили шесть человек.

Этот инцидент вызвал шум за границей. Политический Красный Крест передал сведения о расстреле за рубеж. Сообщения о нем появились в западной печати. Между Соловками и московским руководством сновали депеши. Поначалу лагерное начальство оправдывало расстрел, заявляя, что заключенные нарушили комендантский час и что конвоиры перед тем, как открыть огонь, сделали три предупреждения.

Позднее, в апреле 1924 года, все еще не до конца признавая, что стрельба велась без предупреждения (а заключенные утверждали, что дело обстояло именно так), лагерная администрация провела более подробное расследование случившегося. Политические заключенные, говорилось в ее рапорте, принадлежали к другому классу, нежели конвоиры. Заключенные, в отличие от солдат, могли проводить время за чтением книг и газет, получали белый хлеб, масло и молоко. Это была “ненормальная ситуация”. Нарастало естественное ожесточение работающих против неработающих, и когда заключенные стали демонстративно нарушать комендантский час, неизбежно пролилась кровь[189]. В Москве лагерное начальство в защиту своей позиции зачитало отрывки из писем заключенных родным, где лагерники писали, что они хорошо себя чувствуют, хорошо питаются и им не нужно присылать ни еды, ни одежды. В других письмах речь шла о великолепных видах Соловков[190]. Когда некоторые из писем появились в советской печати, заключенные заявили, что послали родственникам эти идиллические описания соловецкой жизни только для того, чтобы успокоить их[191].

Московские власти вознегодовали и приняли меры. Соловецкий лагерь и пересыльный пункт в Кеми посетила комиссия, в которую входил заведующий спецотделом ОГПУ Глеб Бокий. Затем в сентябре – октябре 1924 года газета “Известия” опубликовала серию статей о Соловках. “Глубоко ошибаются те, кто думает, что Соловки представляют унылую, мрачную тюрьму, где люди сидят и изнывают в тесном заключении, – писал член комиссии Н. Красиков. – Весь лагерь представляет огромный хозяйственный организм с 3000 рабочих, работающих в самых разнообразных отраслях производства”. Воздав хвалу промышленности и сельскому хозяйству Соловков, Красиков перешел к описанию жизни социалистов в Савватиево:

> Образ жизни, какой они ведут, можно характеризовать как анархо-интеллигентский, со всеми его отрицательными сторонами. Вечная бездеятельная толчея, митингование, мелкие семейные дрязги, фракционные разногласия, а главное, резко вызывающее агрессивное отношение к власти вообще и к местной администрации и к красноармейской охране в частности <…> – все это ставит эту группу в 300 с лишним человек в состояние

[188] *Letters from Russian Prisons.* P. 183–188.

[189] Hoover, ф. 89, 73/32.

[190] Ibid. 73/34.

[191] *Letters from Russian Prisons.* P. 218–220.

> откровенной вражды к каждому мероприятию, к каждой попытке местной власти наладить правильно регулируемую жизнь и работу…[192]

В другом советском периодическом издании утверждалось, что заключенные-социалисты питаются лучше, чем красноармейцы. Эти заключенные якобы могут свободно встречаться с родственниками – как иначе они могли бы передавать наружу сведения? – и пользуются лучшим медицинским обслуживанием, чем жители обычных рабочих поселков. Автор статьи с издевкой писал, что эти заключенные требуют золотых зубных протезов и редких, дорогих лекарств[193].

Это было начало конца. После серии дискуссий, в ходе которых ЦК РКП(б) рассмотрел и отверг план высылки политических за границу (испугались реакции западных социалистов, в особенности британских лейбористов), было принято решение[194]. На рассвете 17 июня 1925 года Савватиевский скит окружили конвоиры. Заключенным было дано два часа на сборы, после чего их отвели на пристань, посадили на суда и отправили в дальние материковые тюрьмы – одних в Тобольск, других в Верхнеуральск. Там условия были гораздо хуже, чем в Савватиево[195].

Хотя социалисты продолжали бороться за свои права, переправлять письма за границу, перестукиваться через тюремные стены, устраивать голодовки, их протесты тонули в большевистской пропаганде. В Берлине, Париже и Нью-Йорке старые организации, помогавшие заключенным, испытывали все большие трудности со сбором денег[196]. “После событий 19 декабря, – писал один арестант зарубежному другу, имея в виду расстрел шести человек в 1923 году, – нам казалось, что мир содрогнется – наш социалистический мир. Но он словно бы не заметил того, что произошло на Соловках, и трагедия превратилась в фарс”[197].

К концу 1920-х заключенные-социалисты потеряли свой особый статус. Они делили камеры с большевиками, троцкистами и обычными уголовниками. На политических, точнее, на “контрреволюционеров” стали смотреть не как на привилегированную группу, а как на людей, стоящих в лагерной иерархии ниже уголовников. Лишенные прав, которые они пытались отстаивать, они теперь интересовали тюремщиков лишь в той мере, в какой могли работать. И только способные работать получали достаточно еды, чтобы выжить.

---

[192] Красиков. С. 2.

[193] *Letters from Russian Prisons.* P. 215.

[194] Hoover, ф. 89, 73/34, 35, 36.

[195] Hoover, Nicolaevsky Collection, Box 782; Melgunov Collection, Box 8.

[196] Ibid. Folder 1.

[197] *Letters from Russian Prisons.* P. 160.

Глава 3
1929 год. “Великий перелом”

Когда большевики пришли к власти, они сначала проявляли по отношению к своим врагам мягкость. <… > Если бы мы повторили и дальше эту ошибку, мы совершили бы преступление по отношению к рабочему классу, мы предали бы его интересы. И это вскоре стало совершенно ясно.
Иосиф Сталин

20 июня 1929 года к маленькой пристани под стеной Соловецкого кремля подошел пароход “Глеб Бокий”. Заключенные смотрели на прибытие с великим ожиданием. Вместо молчаливых, изнуренных арестантов, которые обычно сходили с “Глеба Бокия”, на берегу появилась группа здоровых, энергичных мужчин и одна женщина. Они разговаривали, жестикулировали. На сделанных в тот день фотографиях большинство мужчин одеты в военную форму: среди них было несколько видных чекистов, в том числе сам Глеб Бокий. Один из прибывших, выше остальных и с густыми усами, был одет проще: рабочая кепка, незатейливое пальто. Это был Максим Горький.

В числе заключенных, наблюдавших сцену в окно, был будущий академик Дмитрий Лихачев. Он описал и пассажирку: “…виден был пригорок, на котором долго стоял Горький с какой-то очень странной особой, которая была в кожаной куртке, кожаных галифе, заправленных в высокие сапоги, и в кожаной кепке. Это оказалась сноха Горького (жена его сына Максима). Одета она была, очевидно (по ее мнению), как заправская «чекистка»”. Группа села в монастырскую коляску “с бог знает откуда добытой лошадью” и отправилась осматривать остров[198].

Лихачев прекрасно понимал, что Горький – особый посетитель. В тот период своей жизни Горький был вернувшимся “блудным сыном” большевиков, которые превозносили его на все лады. Убежденный социалист, в прошлом близкий к Ленину, Горький тем не менее не одобрил большевистский переворот 1917 года. В последующих статьях и выступлениях он страстно осуждал переворот и “красный террор”, называл политику Ленина “авантюрной”, а послереволюционный Петроград – “трясиной”. В 1921 году он эмигрировал в Сорренто, откуда поначалу продолжал отправлять на родину гневные послания.

Со временем, однако, его настроение изменилось, и в 1928 году он решил вернуться. Причины его возвращения не вполне ясны. Солженицын довольно зло объясняет возвращение тем, что на Западе Горький “не обнаружил вокруг себя мировой славы, а затем – и денег”. Орландо Файджес пишет, что в эмиграции Горький был очень несчастен и не выносил общества других русских эмигрантов, большей частью настроенных куда более антикоммунистически, чем он сам[199]. Каковы бы ни были его мотивы, он приехал обратно с твердым намерением всеми силами помогать советскому режиму. Почти сразу же он предпринял целый ряд триумфальных поездок по Советскому Союзу и осознанно включил в маршрут Соловки. Его многолетний интерес к тюрьмам восходил к собственному беспризорному отрочеству.

О визите Горького на Соловки пишут многие мемуаристы, и все сходятся на том, что на острове были сделаны тщательные приготовления. Некоторые вспоминают, что на этот день был изменен лагерный режим, что мужьям позволили повидаться с женами: люди должны

[198] Лихачев. *Книга беспокойств*. С. 183–189.
[199] Figes. P. 400–405 и 820–821.

были выглядеть как можно более веселыми[200]. Лихачев пишет, что вдоль пути Горького в землю воткнули свежесрубленные елки, что многих заключенных вывели из кремля в лес, чтобы не создавать у него ощущение тесноты. Однако поведение Горького авторы воспоминаний оценивают по-разному. По словам Лихачева, писатель понял, что его дурачат. Посетив лазарет, где персоналу к его приезду выдали чистые халаты, он сказал: “Не люблю парадов” и вышел. Затем Лихачев рассказывает о посещении Горьким детской колонии. Пробыв там минут десять-пятнадцать, Горький потребовал, чтобы его оставили наедине с четырнадцатилетним мальчиком, вызвавшимся рассказать ему “всю правду”. Через сорок минут Горький вышел со слезами на глазах[201].

Однако Олег Волков, который тоже был на Соловках во время визита Горького, пишет, что писатель “глядел только в ту сторону, какую ему указывали”[202]. И хотя история о мальчике появляется не только у Лихачева (согласно одной из версий, он сразу же после отъезда Горького был расстрелян), некоторые мемуаристы утверждают, что к Горькому не дали подойти ни одному заключенному[203]. Есть сведения, что впоследствии все письма лагерников Горькому перехватывались администрацией и что по крайней мере один из их авторов был уничтожен[204]. В. Э. Канэп, бывший чекист, ставший заключенным, даже утверждал, что Горький посетил штрафной изолятор на Секирке, где сделал запись в контрольном журнале. Один из московских руководителей ОГПУ, сопровождавших Горького, написал там: “При посещении мною Секирной нашел надлежащий порядок”. Ниже, по словам Канэпа, Горький добавил: “Сказал бы – отлично”[205].

Хотя мы не можем установить в точности, что именно Горький сказал и сделал на острове, мы можем прочесть очерк, написанный им впоследствии. Горький хвалит в нем красоту соловецкой природы, описывает живописные монастырские здания и их живописных обитателей. Плывя к острову на пароходе, он даже разговорился с соловецким монахом. “А начальство как относится к вам?” – спросил Горький. “Начальство тут желает, чтобы все работали. Мы – работаем”, – ответил монах[206].

Горький с одобрением пишет об условиях жизни заключенных, явно желая внушить читателю, что советский трудовой лагерь – совсем не то же самое, что царская тюрьма. В комнатах женщин, пишет он, “по четыре и по шести кроватей, каждая прибрана «своим», – свои одеяла, подушки, на стенах фотографии, открытки, на подоконниках – цветы, впечатления «казенщины» – нет, на тюрьму все это ничем не похоже, но кажется, что в этих комнатах живут пассажирки с потонувшего корабля”.

На торфоразработках трудятся “здоровые ребята в холщовых рубахах и высоких сапогах”. Горький встречает и нескольких “политических”. “Это контрреволюционеры эмоционального типа, «монархисты», те, кого до революции именовали «черной сотней»”, – пишет он. Когда они говорят ему, что их арестовали несправедливо, он предполагает, что они лгут. В одном месте очерка видится намек на легендарную встречу с четырнадцатилетним мальчиком. Какой-то “молодой человек «мелкого калибра»” подал ему сложенный лист бумаги. Но другие заключенные закричали: “Это – шпион!”.

Но не только условия жизни делали Соловки в глазах Горького лагерем нового типа. Пассажиры и пассажирки “с потонувшего корабля” не просто довольны и здоровы – они играют главные роли в грандиозном эксперименте преобразования преступных и антиобщественных

---

[200] Бродский Ю. С. 324–330.

[201] Лихачев. *Книга беспокойств*. С. 183–189.

[202] Волков. С. 168.

[203] Солженицын. *Архипелаг ГУЛАГ*. Часть третья. Гл. 2 / *Мал. собр. соч*. Т. 6. С. 42–44.

[204] Солженицын. Там же; Хьетсо. С. 243–254; Бродский Ю. С. 324–330.

[205] Бродский Ю. С. 326; Чухин. *Каналоармейцы*. С. 36.

[206] Горький. *Собрание сочинений*. Т. XI. С. 291–316. Все цитаты из Горького о Соловках взяты из этого источника.

личностей в полезных членов советского общества. Горький подхватил идею Дзержинского о том, что лагеря должны быть не только средством наказания, но и “школами труда”, перековывающими правонарушителей в работников, в которых нуждается новая советская система. Конечная цель эксперимента, который “дал уже неоспоримые положительные результаты”, – “уничтожить тюрьмы для уголовных”. “Если б такой опыт, как эта колония, дерзнуло поставить у себя любое из «культурных» государств Европы, – пишет Горький в конце очерка, – и если б там он мог дать те результаты, которые мы получили, государство это било бы во все свои барабаны, трубило во все медные трубы о достижении своем в деле реорганизации психики преступника”. Мы же “по скромности нашей” не умеем писать о своих достижениях.

Позднее Горький якобы говорил по поводу очерка о Соловках: “Карандаш редактора не коснулся только моей подписи – все остальное совершенно противоположно тому, что я написал, и неузнаваемо”. Мы не знаем, почему он написал то, что написал, – по наивности, из расчетливого желания обмануть читателя, под давлением цензуры?[207] Какими бы мотивами Горький ни руководствовался, его очерк 1929 года сыграл важную роль в формировании общественного и официального взгляда на новую и гораздо более широкую систему лагерей, которая замышлялась в тот самый год. Ранняя большевистская пропаганда защищала революционное насилие как необходимое, но временное зло, как очищающее средство, применяемое в переходный период. Горький, с другой стороны, придал институционализированному насилию Соловков вид органической части нового порядка и тем самым способствовал примирению общества с растущей властью тоталитарного государства[208].

1929 год памятен не только публикацией очерка Горького. К этому времени революция достигла зрелости. Гражданская война окончилась почти десять лет назад. Ленина давно не было в живых. Были испробованы и отброшены экспериментальные экономические модели – военный коммунизм, НЭП. Подобно тому как концлагерь в ветхих зданиях на Соловках превратился в целую сеть северных лагерей, беспорядочный террор ранних советских лет уступил место более систематическому преследованию тех, кого объявляли противниками режима.

Кроме того, к 1929 году революция обрела совсем иного вождя. На протяжении 1920-х Сталин победил или уничтожил сначала противников большевистской власти, а затем и своих личных противников. С этой целью он, во-первых, стал играть главную роль в партийных кадровых решениях, во-вторых, начал широко использовать секретную информацию, собираемую для него “органами”, к которым он проявлял особый интерес. Он инициировал ряд партийных чисток, результатами которых вначале были только исключения из партии, и позаботился о том, чтобы провинности людей разбирали на проникнутых обвинительным духом, наэлектризованных общественных собраниях. В 1937–1938 годах эти чистки стали смертельными: за исключением из партии часто следовал приговор к лагерному сроку или “высшей мере”.

Сталин очень искусно одержал верх над своим главным соперником в борьбе за власть – Львом Троцким. Вначале он дискредитировал Троцкого, затем добился его высылки в Турцию, затем использовал его для установления прецедента. Когда Яков Блюмкин, агент ОГПУ и пламенный троцкист, посетил своего кумира в турецкой ссылке и вернулся с письмами Троцкого к его сторонникам в СССР, Сталин позаботился о том, чтобы Блюмкина схватили и приговорили к расстрелу. Тем самым он подчеркнул решимость государства использовать всю силу своих карательных органов не только против членов других социалистических партий и сторонников старого режима, но и против несогласных внутри самой партии большевиков[209].

---

[207] Хьетсо. С. 244–245.

[208] Tolczyk. P. 94–97. Моя интерпретация очерка Горького основана на метких наблюдениях этого автора.

[209] Tucker. *Stalin in Power.* P. 125–127.

Однако в 1929 году Сталин еще не был тем диктатором, каким он стал к концу следующего десятилетия. Правильнее было бы сказать, что в том году он привел в действие политику, которая впоследствии сделала его власть безраздельной и в то же время изменила советскую экономику и общество до неузнаваемости. Западные историки называли эту политику революцией сверху, сталинской революцией. Сам же Сталин назвал 1929-й годом великого перелома.

Сердцевиной сталинской революции была программа лихорадочно быстрой индустриализации. К тому времени большевистская власть так и не принесла большинству людей реального улучшения жизни. Наоборот – годы гражданской войны и экономических экспериментов привели к еще большему обнищанию. И теперь Сталин, возможно почувствовав растущее народное недовольство, поставил задачу коренным образом изменить условия жизни рядового человека.

С этой целью в 1929-м советское правительство утвердило первый пятилетний план, предусматривавший ежегодное увеличение промышленного производства на 20 процентов. Вновь появились продуктовые карточки. Семидневная неделя: пять рабочих дней, два выходных – была отменена. Люди стали работать по скользящему графику, поддерживая непрерывный цикл производства. На самых важных объектах продолжительность смены доходила до тридцати часов, некоторые рабочие трудились в среднем по 300 часов в месяц[210]. Дух эпохи, насаждаемый сверху и с энтузиазмом подхваченный внизу, был духом соревнования: директора заводов и работники аппарата, рабочие и служащие соперничали друг с другом, стремясь выполнить и перевыполнить план или по крайней мере дать новые предложения по скорейшему его выполнению. В то же время никому не разрешалось ставить под вопрос правильность плана. Это относилось и к высшему уровню – партийные деятели, сомневавшиеся в целесообразности столь стремительной индустриализации, недолго сохраняли посты, – и к низшему. Один человек вспоминал потом, как ребенком маршировал по комнате детского сада с флажком и скандировал:

Пять в четыре,
Пять в четыре,
Пять в четыре,
А не в пять!

Смысл этих слов – что пятилетку надо выполнить в четыре года – был мальчику совершенно неведом[211].

Как и все крупные советские начинания, массовая индустриализация создала новые категории преступников. В 1926 году был принят новый советский уголовный кодекс, куда, помимо прочего, вошла сильно расширенная статья о контрреволюционной деятельности – 58-я. Она содержала 14 пунктов, и ОГПУ стало использовать их все, в первую очередь для ареста инженеров[212]. Само собой, с лихорадочным темпом технических перемен справиться было трудно. Примитивные технологии, применяемые второпях, вели к ошибкам. На кого-то надо было свалить вину. Отсюда – аресты “вредителей” и “саботажников”, чьей коварной целью было замедлить рост советской экономики. Некоторые из ранних показательных процессов – Шахтинское дело в 1928 году, процесс Промпартии в 1930-м – были фактически судами над инженерами и представителями технической интеллигенции. То же самое можно сказать и о процессе 1933 года над сотрудниками фирмы “Метро-Виккерс”, привлекшем пристальное

[210] Payne. P. 270–271.
[211] Tucker. *Stalin in Power.* C. 96.
[212] *Сборник…* С. 22–26.

внимание за рубежом, поскольку подсудимыми были не только советские граждане, но и британцы. Все они обвинялись в саботаже и в шпионаже в пользу Великобритании[213].

Но были и другие источники пополнения массы заключенных. В 1929 году советский режим ускорил и процесс насильственной коллективизации крестьян. Это был колоссальный переворот, в некоторых отношениях более глубокий, чем октябрьский. За невероятно короткое время сельские партработники принудили миллионы крестьян отдать свои небольшие земельные наделы и вступить в колхозы. Нередко людей сгоняли с участков, которые возделывали их деды и прадеды. Этот переход безвозвратно подорвал советское сельское хозяйство и создал условия для ужасающего голода на Украине и на юге России в 1932–1934 годах, убившего от шести до семи миллионов человек[214]. Кроме того, коллективизация навсегда уничтожила присущее сельской России ощущение связи с прошлым.

Миллионы людей противились коллективизации, прятали зерно, отказывались сотрудничать с властями. Всех несогласных причисляли к кулакам. Это понятие, как и понятие “вредителя”, было крайне расплывчатым, под него можно было подвести чуть ли не кого угодно. Лишней коровы или лишней комнаты в избе было достаточно, чтобы по доносу завистливого соседа зачислить в кулаки явно бедного крестьянина. Чтобы сломить сопротивление “кулаков”, режим по существу взял на вооружение старую царскую практику административной ссылки. В деревни просто-напросто приезжали грузовики или повозки и забирали людей семьями. Некоторых “кулаков” расстреляли, некоторых судили и приговорили к лагерному сроку. Большинство, однако, было попросту выслано. В 1930–1933 годы более двух миллионов крестьян вывезли в Сибирь, Казахстан и другие малонаселенные районы Советского Союза, где они прожили всю оставшуюся жизнь на правах спецпереселенцев, которым было запрещено покидать новые места проживания. Еще 100 000 арестовали и отправили в лагеря[215].

Когда начался голод, которому способствовала засуха, последовали новые аресты. У крестьян, и особенно у “кулаков”, забирали все зерно, какое только можно было забрать. За малейшую кражу, пусть даже совершенную, чтобы накормить голодных детей, людей сажали в лагерь. Постановление от 7 августа 1932 года предусматривало для таких “расхитителей социалистической собственности” расстрел или длительный лагерный срок. Вскоре людей стали сажать “за колоски”; могли дать десять лет за несколько картофелин или яблок[216]. Этим объясняется тот факт, что крестьяне составляли подавляющее большинство советских заключенных в 1930-е годы и существенную их часть вплоть до смерти Сталина.

Воздействие этих массовых арестов на места лишения свободы было огромным. Их московские руководители примерно в то же время, когда новые законы вступили в силу, начали призывать к быстрой и радикальной ревизии всей системы. “Обычная” система мест заключения, по-прежнему находившаяся в ведении Наркомата внутренних дел (и по-прежнему гораздо более обширная, чем Соловецкие лагеря, относившиеся к ОГПУ), все предыдущее десятилетие оставалась переполненной и плохо организованной; госбюджет тратил на нее немалые деньги. В масштабах страны положение было таким тяжелым, что в какой-то момент власти попытались уменьшить количество заключенных, начав приговаривать большее число людей к “принудительным работам без лишения свободы”[217].

Однако по мере того как коллективизация и репрессии набирали силу, как миллионы “кулаков” изгонялись из родных домов, такие решения начали представляться политически

---

[213] См.: Tucker. *Stalin in Power*; Conquest. *Stalin*; Getty and Naumov.

[214] См.: Conquest. *Harvest of Sorrow*. Эта книга остается самым полным англоязычным документальным описанием коллективизации и голода. // В книге Ивницкого приведены заслуживающие доверия архивные сведения. Судьба "кулаков", как и судьба ссыльных, еще ждет своего подлинного историка.

[215] Ивницкий. С. 115; Земсков. *Спецпоселенцы*. С. 4.

[216] Getty and Naumov. P. 110–112; Solomon. P. 111–129.

[217] Jakobson. P. 120.

несвоевременными. И вновь руководители страны пришли к выводу, что столь опасные преступники (враги великого сталинского переустройства деревни) требуют более жесткого содержания, и создать к этому средства должно было ОГПУ.

Зная, что система мест лишения свободы приходит в упадок так же быстро, как растет число заключенных, Политбюро ЦК ВКП(б) в 1928 году сформировало комиссию для решения проблемы. Внешне комиссия выглядела нейтральной: в нее входили как представители Наркомюста РСФСР, так и люди из ОГПУ. Возглавил комиссию нарком юстиции Янсон. Задачей комиссии, однако, было создать "систему концлагерей, организованных по типу лагерей ОГПУ", и ее деятельность проходила в жестких рамках. Вопреки лирическим рассуждениям Горького о перевоспитании через труд все члены комиссии использовали чисто экономический язык. Все проявляли одинаковое беспокойство о "снижении расходов" и о "рационально поставленном использовании труда"[218].

Правда, протокол заседания комиссии от 15 мая 1929 года содержит ряд практических возражений против создания широкой лагерной системы: большие лагеря трудно будет организовать, нет дорог, ведущих в северные районы, и так далее. Нарком труда сказал, что неправильно наказывать мелких преступников так же, как рецидивистов. Нарком внутренних дел РСФСР Толмачев отметил, что нововведение вызовет критику за границей: белоэмигранты и буржуазная печать заявят, что "мы вместо хваленой пенитенциарной системы с исправительно-трудовым воздействием создали чекистский застенок"[219].

Однако его мысль состояла не в том, что система плоха, а в том, что она будет *выглядеть* плохой. Никто из присутствующих не возражал против лагерей "по типу Соловецкого" на том основании, что они жестоки и губительны. Никто не вспомнил о столь любимой Лениным альтернативной теории преступности, согласно которой преступления должны исчезнуть вместе с капитализмом. Разумеется, никто не говорил о перевоспитании заключенных, о "коренном изменении психики людей", которое восхвалял Горький в очерке о Соловках и которое можно было бы использовать для создания положительного впечатления о первых лагерях. Вместо этого Генрих Ягода, представлявший ОГПУ в комиссии, очень четко изложил подлинные интересы режима:

> Необходимо и возможно уже теперь вывести из мест заключения по РСФСР 10 000 чел., труд которых может быть правильно организован и использован. Вместе с тем мы получили сегодня сведения о переполнении мест лишения свободы также и в УССР. Совершенно очевидно, что политика советской власти и строительство новых тюрем несовместимы. На новые тюрьмы никто денег не даст. Другое дело – построение больших лагерей с рационально поставленным использованием труда в них. Мы имеем огромные затруднения в деле посылки рабочих на север. Сосредоточение там многих тысяч заключенных поможет нам продвинуть дело хозяйственной эксплуатации природных богатств севера. <…> Опыт Соловков показывает, как много можно сделать в этом направлении.

Далее Ягода сказал, что люди, отправленные на север, должны будут оставаться там навсегда: "Рядом мер, как административного, так и хозяйственного содействия освобожденным, мы можем побудить их оставаться на севере, тут же заселяя наши окраины"[220].

Сходная с царской моделью идея о том, что заключенные должны становиться поселенцами, была высказана неслучайно. Пока работала комиссия Янсона, другая комиссия начала

[218] Красильников. *Рождение ГУЛАГа*. С. 143–144.

[219] Там же. С. 145–146.

[220] Там же. С. 145.

исследовать пути борьбы с нехваткой рабочей силы на Дальнем Севере. Для решения проблемы выдвигались разные предложения, в частности заселять безлюдные места безработными и китайскими иммигрантами[221]. Обе комиссии пытались решить одну и ту же задачу, и этому трудно удивляться. Чтобы выполнить сталинский пятилетний план, Советскому Союзу требовались громадные количества угля, газа, нефти и древесины, источниками которых могли стать Сибирь, Казахстан и Крайний Север. Страна также нуждалась в золоте для покупки новой техники за границей, а геологи как раз недавно обнаружили золото в верховьях Колымы. Несмотря на холод, тяжелые условия жизни и труднодоступность, эти ресурсы необходимо было разрабатывать с огромной скоростью.

В обычном для того времени духе межведомственного соревнования Янсон вначале предложил, чтобы систему возглавил его наркомат. Он вызвался создать на севере европейской части РСФСР ряд лесных лагерей, чтобы увеличить экспорт древесины, которая была для страны главным источником иностранной валюты. Проект был “заморожен” – вероятно, не все хотели, чтобы во главе стояли Янсон и его юристы. И весной 1929 года, когда проект вновь стали рассматривать, комиссия Янсона пришла к несколько иным выводам. 13 апреля 1929 года она предложила создать новую, единую систему концлагерей, которая уничтожила бы различие между обычными местами лишения свободы и лагерями особого назначения. Что еще более важно, новая система должна была находиться в непосредственном ведении ОГПУ[222].

Быстрота, с которой ОГПУ брало систему мест заключения под свой контроль, поразительна. В декабре 1927 года в ведении спецотдела ОГПУ находилось 30 000 заключенных – около 10 процентов от общего числа, главным образом в Соловецких лагерях. В отделе работало не более 1000 сотрудников, и его бюджет едва превышал 0,05 процента государственных расходов. Для сравнения: в местах заключения, подчиненных НКВД, содержалось 150 000 человек, и расходы на них составляли 0,25 процента госбюджета. Однако между 1928 и 1930 годом положение изменилось на прямо противоположное. По мере того как другие ведомства постепенно отдавали ОГПУ своих заключенных, свои тюрьмы, свои лагеря, число заключенных в системе ОГПУ увеличилось с 30 000 до 300 000[223]. В 1931 году ОГПУ взяло под свой контроль и миллионы спецпереселенцев (главным образом “кулаков”), которые фактически были обречены на принудительный труд, поскольку им под страхом смерти или ареста было запрещено покидать назначенные места проживания и рабочие места[224]. К середине 1930-х ОГПУ уже контролировало всю огромную трудовую армию советских заключенных.

Чтобы справиться с новыми задачами, ОГПУ реорганизовало свой спецотдел, ведавший лагерями, и преобразовало его в Главное управление лагерями – ГУЛАГ. Позднее эта аббревиатура стала обозначением всей системы[225].

С тех самых пор как система советских концлагерей приобрела широкий размах, заключенные и исследователи много думали и спорили о побудительных мотивах к ее созданию. Возникла ли она спонтанно – как побочный результат коллективизации, индустриализации и других процессов, происходивших в стране? Или Сталин тщательно спроектировал рост ГУЛАГа, заранее планируя арест миллионов людей?

В прошлом некоторые специалисты утверждали, что за созданием лагерей не стояло никакого грандиозного плана. Историк Джеймс Харрис писал, что движение за строительство

---

[221] Nordlander. *Capital of the Gulag*.

[222] Красильников. *Рождение ГУЛАГа*; Jakobson. P. 1–9.

[223] Jakobson. P. 120.

[224] Хлевнюк. *Принудительный труд…*; Красильников. *Спецпереселенцы в Западной Сибири, весна 1931 г. – начало 1933 г*. С. 6.

[225] ГАРФ, ф. 5446, оп. 1, д. 54 и ф. 9401, оп. 1а, д. 1; Jakobson. P. 124–125.

новых лагерей в районе Урала возглавляли не московские чиновники, а местные руководители. Перед лицом непосильных требований пятилетнего плана с одной стороны и острой нехватки рабочих рук – с другой уральские власти ускорили и ужесточили коллективизацию. Всякий "кулак", согнанный со своей земли, становился очередным подневольным работником[226]. Другой историк (Майкл Джейкобсон), рассуждая в сходном ключе, пишет, что источники грандиозной советской лагерной системы были "банальными": "Чиновники преследовали недостижимые цели, стремясь к самоокупаемости мест заключения и в то же время желая перевоспитывать заключенных. Руководители изыскивали рабочую силу и деньги, расширяли свои бюрократические владения, ставили нереальные задачи. Начальники лагерей и надзиратели послушно исполняли правила и распоряжения. Теоретики подводили базу. В результате решения постоянно менялись на противоположные, исправлялись или отменялись"[227].

Если ГУЛАГ и вправду создавался наобум и вслепую, этому трудно удивляться. Вообще в начале 1930-х годов советское руководство в целом и Сталин в частности постоянно меняли курс, принимали решения и затем отменяли их, делали публичные заявления, сознательно направленные на то, чтобы скрыть реальное положение вещей. Изучая историю тех лет, нелегко обнаружить четкий широкомасштабный дьявольский план, разработанный Сталиным или кем-либо другим[228]. Например, начав коллективизацию, Сталин в марте 1930 года словно бы опомнился и осадил чересчур ретивых сельских руководителей, обвинив их в "головокружении от успехов". Что бы он ни имел под этим в виду, его заявление не оказало большого воздействия на ход событий и раскулачивание продолжалось еще не один год.

Деятели из ОГПУ, планировавшие расширение ГУЛАГа, поначалу, кажется, тоже не имели ясного представления о своих конечных целях. Комиссия Янсона принимала решения, потом давала задний ход. Политика ОГПУ как такового представляется противоречивой. Например, на протяжении 1930-х годов ОГПУ часто объявляло амнистии с целью разгрузить тюрьмы и лагеря. Однако за амнистией неизменно следовала новая волна репрессий и лагерного строительства, словно Сталин и его подручные сами не знали, хотят ли они роста системы, или словно разные люди в разное время давали противоположные указания.

Сходным образом лагерная система претерпевала циклические изменения, становясь то более, то менее репрессивной. В ней и после 1929 года, когда лагеря были устойчиво поставлены на путь экономической эффективности, сохранялись некоторые аномалии. Например, даже в 1937 году многих политзаключенных все еще держали в тюрьмах, где работать было воспрещено, что вступало в явное противоречие с общей установкой на эффективность[229]. Далеко не все бюрократические изменения кажутся осмысленными. Хотя в 1930-е годы формальному разграничению между лагерями ОГПУ и НКВД пришел конец, сохранилось остаточное разграничение между лагерями, предназначенными для более опасных и политических преступников, и колониями для мелких преступников с более короткими сроками. На практике, однако, организация работы, питания и повседневной жизни в лагерях и колониях была почти одинакова.

И все же теперь все большее число историков приходит к единому мнению о том, что у Сталина был если не тщательно разработанный план, то по крайней мере твердая вера в колоссальные преимущества подневольного труда, которую он сохранял до конца жизни. Почему?

---

[226] Harris.

[227] Jakobson. P. 143.

[228] См., например, Kotkin, где говорится о пересмотре планов при осуществлении одного из крупных проектов сталинской эпохи – строительстве Магнитогорского металлургического комбината, к которому ГУЛАГ не имел отношения.

[229] В частности, Евгению Гинзбург в 1937 году приговорили к тюремному заключению, не предусматривавшему какую-либо работу. См.: Гинзбург Е. *Крутой маршрут.*

Некоторые, как, например, Иван Чухин, бывший сотрудник НКВД, а ныне историк лагерной системы раннего периода, считают, что Сталин затеял сверхамбициозные стройки силами ГУЛАГа для того, чтобы поднять свой личный авторитет. В то время он только утверждался на посту руководителя страны после долгой и жестокой борьбы за власть. Возможно, он полагал, что индустриальные достижения, добиться которых можно было за счет принудительного труда заключенных, помогут ему упрочить свое положение[230].

Не исключено, кроме того, что его вдохновлял исторический пример. Ряд историков, в том числе Роберт Такер, убедительно продемонстрировали огромный интерес Сталина к Петру Великому, тоже широко использовавшему в грандиозных стройках подневольный труд. В речи на пленуме ЦК, произнесенной в 1928 году – как раз перед началом индустриализации, Сталин с уважением сказал:

> Когда Петр Великий, имея дело с более развитыми странами на Западе, лихорадочно строил заводы и фабрики для снабжения армии и усиления обороны страны, то это была своеобразная попытка *выскочить из рамок отсталости*[231].

Курсив здесь мой. Он подчеркивает связь между сталинским “великим переломом” и политикой его предшественника в XVIII веке. В российской исторической традиции Петр фигурирует как великий и в то же время жестокий властитель, и противоречия здесь не усматривается. В конце концов, никто не помнит, скольким крепостным стоило жизни строительство Санкт-Петербурга, но красота города восхищает всех. Сталин вполне мог руководствоваться его примером.

Возможно, однако, интерес Сталина к концлагерям и вовсе не имел рационального источника; возможно, его навязчивая страсть к грандиозным строительным проектам, осуществляемым армиями подневольных тружеников, проистекает из особой формы мегаломании, которой он был подвержен. Муссолини однажды назвал Ленина художником, чьим материалом являются люди, как у других – мрамор или металл[232]. Не исключено, что это определение еще лучше подходит к Сталину, которого радовал вид большого количества людей, марширующих или танцующих с идеальной синхронностью[233]. Он очень любил балет, гимнастические выступления под музыку и гимнастические парады с пирамидами из безымянных человеческих фигур в неестественных позах[234]. Как и Гитлера, Сталина завораживало кино, особенно голливудские мюзиклы с их массовым слаженным пением и танцами. Несколько другое, но похожее удовольствие, возможно, доставляли ему громадные массы заключенных, прокладывающих каналы и строящих железные дороги по его приказу.

В чем бы ни заключались причины – в политике, в истории или в психологии, очевидно, что с первых же дней ГУЛАГа Сталин испытывал к лагерям глубокий личный интерес и что он оказал огромное влияние на их развитие. В частности, ключевое решение – передать все советские лагеря и тюрьмы из ведения обычной правоохранительной системы в руки ОГПУ – почти наверняка было принято по указанию Сталина. Он и до 1929 года уделял ОГПУ большое личное внимание: проявлял интерес к карьерам ведущих чекистов, заботился о строительстве комфортабельных домов для них и их семей[235]. Напротив, с тюремной администрацией НКВД

---

[230] Чухин. *Каналоармейцы*. С. 25.

[231] Сталин И. В. *Соч.* Т. 11. 1952. С. 248–249. Процитировано в кн.: Tucker. *Stalin in Power.* P. 64.

[232] Процитировано в: Bullock. P. 374.

[233] Volkogonov. *Stalin.* P. 127 и 148; Волкогонов. *Триумф и трагедия.*

[234] См., например, Moynahan, фотографии на с. 156 и 157.

[235] Tucker. *Stalin in Power.* P. 273.

у Сталина были счеты: ее начальники в свое время поддерживали в жестокой внутрипартийной борьбе противников Сталина[236].

Всем членам комиссии Янсона эти нюансы наверняка были хорошо известны, и этого, возможно, было достаточно, чтобы склонить их к передаче мест заключения в ведение ОГПУ. Но Сталин и напрямую вмешался в деятельность комиссии. На каком-то этапе запутанных дискуссий ряд руководителей заявили о своем несогласии с передачей чекистам всех заключенных НКВД, осужденных на срок три года и выше. Это взбесило Сталина. В письме Вячеславу Молотову, написанном в 1930 году, он назвал этот план “происками прогнившего насквозь Толмачева” (наркома внутренних дел РСФСР). Он дал Политбюро указание исполнять первоначальное решение и ликвидировал республиканские наркоматы внутренних дел[237]. Решение Сталина переподчинить лагеря ОГПУ предопределило их будущий характер. Оно вывело их из-под обычного юридического надзора и отдало в цепкие руки руководства тайной полиции, которое было порождением таинственного, противоправного мира ВЧК.

Возможно также (хотя прямых доказательств этому нет), что от Сталина исходило и постоянно выражавшееся намерение построить “лагеря по типу Соловецкого”. Как я уже писала, Соловецкие лагеря никогда не были прибыльными – ни в 1929-м, ни в другие годы. С июня 1928 по июль 1929 года СЛОН имел дефицит по смете в 1,6 млн рублей, который пришлось покрыть из государственной казны[238]. Хотя и могло возникнуть впечатление, что СЛОН действует более успешно, чем другие местные предприятия, всякому, кто разбирался в экономике, было понятно, что причина этого – неравные условия. К примеру, лесозаготовительные лагеря, использовавшие труд заключенных, могли казаться более производительными, чем обычные предприятия такого же типа, хотя бы просто потому, что крестьяне, занятые на обычных предприятиях, работали только зимой, когда были свободны от сельскохозяйственного труда[239].

И тем не менее Соловецкие лагеря *считались* прибыльными – по крайней мере, таковыми их считал Сталин. Он, кроме того, был убежден, что прибыльными их сделало не что иное, как “рациональный” метод Френкеля – распределение еды в зависимости от выработки и ликвидация излишних льгот. О том, что система Френкеля получила одобрение на высшем уровне, говорят факты: во-первых, система была очень быстро растиражирована по всей стране, во-вторых, Френкелю поручили руководить строительством Беломорканала – первым крупным проектом сталинского ГУЛАГа, что было знаком чрезвычайно большого доверия к бывшему заключенному[240]. Позднее, как мы увидим, вмешательство на самом высоком уровне спасло его от ареста и возможной казни.

Об интересе Сталина к принудительному труду свидетельствует и его постоянное внимание к внутренним деталям лагерного хозяйства. До конца жизни он требовал регулярно сообщать ему о производительности труда в лагерях, что зачастую делалось посредством специфической статистики: сколько угля или нефти добыто, сколько заключенных используется, сколько наград получило лагерное начальство[241]. Особенно интересовали его золотые прииски “Дальстроя” – лагерного комплекса на северо-востоке страны, в районе Колымы. Он требовал регулярно и точно информировать его о геологических особенностях района, о количестве

---

[236] Jakobson. P. 121.

[237] Lih, Naumov, and Khlevnyuk. P. 211; Красильников. *Рождение ГУЛАГа*. С. 152–154; Хлевнюк. *Принудительный труд…* С. 76.

[238] Хлевнюк. *Принудительный труд…* С. 74.

[239] Jakobson. P. 121.

[240] Хлевнюк. *Принудительный труд…* С. 74–76; Jakobson. P. 121; Hoover, St. Petersburg Memorial Collection.

[241] Немало примеров такого рода содержится в "особой папке" Сталина в ГАРФ, ф. 9401, оп. 2. В частности, дело 64 содержит подробный отчет о "Дальстрое".

и качестве добытого золота. Чтобы обеспечивать исполнение своих указаний в дальних лагерях, он посылал туда инспекционные группы и часто вызывал начальников лагерей в Москву[242].

Заинтересовавшись каким-либо проектом, он мог уделить ему и еще более пристальное внимание. В частности, его воображением владели каналы, и порой могло показаться, что он хочет прокладывать их всегда и везде. Ягоде однажды пришлось письменно высказать вежливые возражения против нереалистичного желания вождя прорыть канал в центре Москвы с использованием труда заключенных[243]. Увеличивая свой контроль над органами власти, Сталин требовал повышенного внимания к лагерям и от всего руководства страны. В 1940 году Политбюро уже чуть ли не каждую неделю обсуждало тот или иной гулаговский проект[244].

При этом интерес Сталина не был отвлеченным. Он впрямую интересовался конкретными людьми, вовлеченными в лагерный труд: кто арестован, где получил приговор, какова его конечная судьба. Он лично читал ходатайства об освобождении, посылавшиеся ему арестованными или их женами, и часто накладывал краткую резолюцию[245]. Позднее он регулярно запрашивал информацию об интересовавших его заключенных или категориях заключенных, например о западноукраинских националистах[246].

Есть также свидетельства о том, что внимание Сталина к тем или иным заключенным не всегда носило чисто политический характер и не всегда касалось его личных врагов. Еще в 1931 году, до полной консолидации своей власти, Сталин провел через Политбюро резолюцию, позволявшую ему оказывать огромное влияние на аресты определенных категорий технических специалистов[247]. И вполне закономерно, что данные об арестах инженеров и ученых уже на этом раннем этапе говорят о некоем высшем планировании. Вряд ли случайно, что в самую первую группу заключенных, отправленную в новые лагеря на Колыму, входили семь видных специалистов по горному делу, два специалиста по организации труда и один опытный инженер-гидравлик[248]. Не случайно, видимо, и то, что накануне запланированной экспедиции, задачей которой было построить лагерь в нефтеносном районе Коми-Зырянской автономной области, ОГПУ арестовало одного из крупнейших советских геологов (мы к этому еще вернемся)[249]. Такие совпадения не могут быть результатом планирования на уровне местного партийного начальства, реагировавшего на требования дня.

И наконец, имеются косвенные, но тем не менее интересные данные, говорящие о том, что массовые аресты конца 1930-х – 1940-х годов, возможно, в определенной степени объясняются стремлением Сталина использовать рабский труд, а не только, как всегда предполагало большинство, его желанием наказать реальных, воображаемых или потенциальных врагов. Авторы наиболее авторитетного к настоящему времени российского справочника по лагерям пишут, что “существовала положительная обратная связь между результативностью производственной деятельности лагерей и численностью направляемых в лагеря осужденных”. Неслучайно, утверждают они, быстрый рост лагерной системы и увеличение потребности в рабочей силе совпадают по времени с резким ужесточением наказаний за мелкие правонарушения[250].

О том же свидетельствуют и некоторые разрозненные архивные документы. Например, 17 марта 1934 года Ягода потребовал от своих подчиненных на Украине предоставить к 1 апреля “не менее 15–20 тысяч трудоспособных заключенных”: они срочно были нужны

---

[242] Nordlander. *Origins of a Gulag Capital*. P. 798–800.

[243] *Генрих Ягода*. С. 434.

[244] Протоколы заседаний Политбюро, РГАСПИ, ф. 17, оп. 3.

[245] Volkogonov. *Stalin*. P. 252, 308–309, 519; Волкогонов. *Триумф и трагедия*.

[246] ГАРФ, ф. 9401, оп. 2, д. 199 ("особая папка" Сталина).

[247] РГАСПИ, ф. 17, оп. 3, д. 746; Nordlander. *Capital of the Gulag*.

[248] Nordlander. Там же.

[249] Канева. С. 331.

[250] *Система ИТЛ в СССР*. С. 34.

для окончания канала Москва – Волга. Откуда взять эти 15–20 тысяч человек, Ягода точно не объяснил. Были ли они срочно арестованы во исполнение его требования? Или – как считает историк Терри Мартин – Ягода просто стремился обеспечить ровный и регулярный приток рабочей силы в свою лагерную систему? Этой цели, надо сказать, он так никогда и не добился.

Если аресты были нужны для того, чтобы наполнить лагеря, то задача эта решалась с почти смехотворной неэффективностью. Мартин и другие исследователи указывали, что каждая волна массовых арестов, похоже, заставала начальников лагерей врасплох и им очень трудно было даже создавать видимость экономической эффективности. Что касается выбора "человеческого материала", то он представляется нерациональным: наряду с молодыми здоровыми мужчинами, способными к тяжелому труду в северных лагерях, арестовывали множество женщин, детей, стариков[251]. Явная алогичность массовых арестов не свидетельствует в пользу предположения о тщательно спроектированной системе рабского труда – скорее, подтверждает, что главной целью арестов все же были репрессии против тех, кого Сталин считал своими врагами, а наполнение лагерей имело второстепенное значение.

Впрочем, эти два объяснения роста лагерей не исключают друг друга. Сталин вполне мог иметь в виду и то и другое сразу – и расправу с врагами, и приумножение числа рабов. Возможно, им одновременно двигали его собственная паранойя и потребность местных руководителей в рабочей силе. Возможно, о случившемся лучше сказать попросту: Сталин предложил своей тайной полиции "соловецкую модель" концлагерей, Сталин очертил круг жертв – и его подчиненные рьяно взялись за дело.

[251] Терри Мартин указал мне на это в ходе переписки по электронной почте в июне 2002 года.

Глава 4
Беломорканал

В конечном итоге лишь одно из возражений, выдвинутых на заседаниях комиссии Янсона, вызвало определенную озабоченность. Хотя Сталин и его приспешники были уверены, что великий советский народ справится с нехваткой дорог, хотя они без зазрения совести готовы были использовать заключенных как рабов, их по-прежнему очень беспокоило, что будут говорить об их лагерях за границей.

Следует отметить, что, вопреки сложившемуся у многих убеждению, за рубежом в то время довольно много писали о советских лагерях. В конце 1920-х годов на Западе было известно о них немало – пожалуй, больше, чем в конце 1940-х. Большие статьи о советских местах заключения были опубликованы в немецкой, французской, английской и американской печати, главным образом левой, у которой в прошлом имелись широкие связи с арестованными ныне российскими социалистами[252]. В 1927 году французский автор Раймон Дюге опубликовал книгу о Соловках *Un Bagne en Russie Rouge* (“Каторжная тюрьма в красной России”), где на удивление точно было описано буквально все – от личности Нафталия Френкеля до пытки комарами. С. А. Мальсагов, белогвардейский офицер родом из Ингушетии, сумевший бежать из Соловков и перебраться за границу, в 1926-м опубликовал в Лондоне *Island Hell* (“Адские острова”) – еще один рассказ о Соловках. Широко распространившиеся слухи об использовании советскими властями труда заключенных даже побудили Британское антирабовладельческое общество начать расследование, в отчете о котором содержались сведения о цинге среди заключенных и о дурном обращении с ними[253]. Один французский государственный деятель написал статью, основанную на свидетельствах беженцев из России, на которую часто ссылались. В ней он сравнил данные о заключенных в Советском Союзе с результатами проведенного Лигой наций расследования рабства в Либерии[254].

[252] Dallin and Nicolaevsky. P. 218–219.

[253] Bateson and Pim.

[254] Dallin and Nicolaevsky. P. 219.

Беломорканал. Север России, 1932–1933 годы

Однако после расширения системы лагерей в 1929–1930 годах фокус международного внимания к ним переместился от судьбы заключенных социалистов к экономической угрозе деловым интересам Запада. Компании и профсоюзы, почувствовавшие себя ущемленными, начали действовать. В разных странах (главным образом в Великобритании и США) возникло движение за бойкот дешевых советских товаров, произведенных, как считали, посредством принудительного труда. Парадоксальным образом призывы к бойкоту затемнили вопрос в восприятии западных (особенно европейских) левых, которые все еще поддерживали российскую революцию, хотя многим их лидерам было не по себе из-за судьбы их собратьев-социалистов. В частности, британские лейбористы не поддержали запрет на импорт советских товаров, подозревая предлагавшие его ввести компании у себя на родине в нечестной игре[255].

В США, однако, профсоюзы, и прежде всего Американская федерация труда, поддержали бойкот. На короткое время они добились успеха. Акт о тарифах от 1930 года запрещал ввоз в порты США любого сырья и товаров, произведенных посредством труда заключенных или принудительного труда[256]. На этом основании Министерство финансов США запретило импорт из СССР балансовой древесины и спичек.

[255] Ibid. P. 221.
[256] Ibid. P. 220.

Хотя запрет сохранял силу только неделю, поскольку госдепартамент США его не поддержал, обсуждение вопроса продолжалось[257]. В январе 1931 года комитет путей и средств Конгресса США рассматривал законопроекты, “касающиеся запрета на ввоз товаров, произведенных в России посредством труда заключенных”[258]. 18, 19 и 20 мая 1931 года лондонская *The Times* опубликовала серию на удивление подробных статей о принудительном труде в СССР, которую завершала редакционная статья, осуждавшая недавнее решение британского правительства о дипломатическом признании Советского Союза. Давать России в долг – значит, по мнению редакции, “усиливать тех, кто открыто стремится к свержению нашего правительства и к уничтожению Британской империи”.

Советский режим отнесся к угрозе бойкота очень серьезно, и был принят ряд мер к тому, чтобы приток твердой валюты в страну не прекращался. Некоторые из этих мер были косметическими: например, комиссия Янсона исключила из своих публичных заявлений слова “концентрационный лагерь”. С 7 апреля 1930 года во всех официальных документах советские лагеря неизменно именовались “исправительно-трудовыми” (ИТЛ). Термин сохранился на долгие годы[259].

Лагерное начальство приняло свои косметические меры на местах, особенно в отношении лесоразработок. В частности, ОГПУ изменило свой договор с трестом “Кареллес”, исключив из него упоминания о труде заключенных. Одновременно 12 090 осужденных были формально “выведены” из лагерей ОГПУ. Фактически они продолжали работать, но их присутствие было замаскировано бюрократическими хитростями[260]. В очередной раз главной заботой советского руководства была видимость, а не реальность.

В других местах заключенных, занятых на лесозаготовках, действительно заменяли “вольными” или, чаще, ссыльными “поселенцами”, бывшими “кулаками”, у которых выбора в этом вопросе было не больше, чем у заключенных[261]. Согласно воспоминаниям мемуаристов, эта замена иногда происходила мгновенно. Джордж Китчин, финский бизнесмен, проведший в лагерях ОГПУ четыре года и затем освобожденный с помощью финского правительства, писал, что перед приездом иностранной делегации

> …от московского начальства была получена секретная шифрованная телеграмма, предписывающая полностью ликвидировать лагерь в три дня, причем так, чтобы и следа не осталось. <…> Во все лагерные подразделения были посланы телеграммы, где говорилось, что надо в двадцать четыре часа прекратить работу, собрать заключенных в эвакуационных пунктах и уничтожить все следы мест лишения свободы, в частности заграждения из колючей проволоки, караульные вышки и доски с надписями; всем сотрудникам переодеться в гражданскую одежду, конвою разоружиться и ждать дальнейших указаний.

Китчина наряду с несколькими тысячами других заключенных вывели в лес. По его оценке, эта и другие подобные ей ночные эвакуации стоили жизни более чем 1300 человек[262].

В марте 1931 года предсовнаркома Молотов, уверенный, что на лесозаготовках заключенных (по крайней мере видимых) больше не осталось, пригласил всех желающих иностранцев приехать и убедиться в этом[263]. Кое-кто побывал там и раньше: в карельском партийном

---

[257] Ibid. P. 220; Jakobson. P. 126.

[258] Dallin and Nicolaevsky. P. 220.

[259] ГАРФ, ф. 5446, оп. 1, д. 54 и ф. 9401, оп. 1а, д. 1.

[260] ГАРФ, ф. 9414, оп. 1, д. 2920.

[261] Jakobson. P. 127.

[262] Kitchin. P. 267–270.

[263] Jakobson. P. 127–128.

архиве сохранились сведения о приезде в 1929 году двух американских журналистов, корреспондентов ТАСС и “радикальных газет”, – товарища Дюранта и товарища Вульфа. Их встретили пением “Интернационала”, и товарищ Вульф пообещал рассказать рабочим Америки, как живут и строят новую жизнь рабочие в Советском Союзе. Это было далеко не последнее показное мероприятие такого рода[264].

Хотя в 1931 году движение за бойкот выдохлось, кампания Запада против рабского труда в СССР не прошла совсем уж бесследно: Советский Союз всегда, даже при Сталине, был очень чувствителен к тому, какое впечатление он производит за границей. Ныне некоторые исследователи (в частности, Майкл Джейкобсон) предполагают, что угроза бойкота могла быть существенным фактором, предопределившим еще одно, более важное решение советских властей. Заготовка леса, требовавшая огромных затрат неквалифицированного труда, была, конечно, идеальной сферой для использования труда заключенных. Однако экспорт леса был одним из главных источников твердой валюты, и режим хотел обезопасить себя от бойкота. Заключенных надо было перебросить на другой участок, причем лучше всего на такой, чтобы их труд можно было не скрывать, а прославлять. Возможностей было достаточно, но Сталину больше всего пришлась по душе вот какая: проложить огромный канал от Белого моря до Балтийского, в немалой его части – по скальному грунту.

Для своего времени Беломорканал не был уникальным явлением. Еще до начала его строительства Советский Союз приступил к осуществлению нескольких столь же грандиозных проектов, требовавших столь же колоссальных затрат труда. В их числе – постройка крупнейшего в мире Магнитогорского металлургического комбината, огромных новых тракторных и автомобильных заводов, возведение среди болот больших “социалистических городов”. Тем не менее Беломорканал стоит особняком даже среди этих проявлений гигантомании 30-х годов.

Во-первых, канал, как многим в России было известно, был осуществлением очень давней мечты. Первые планы прокладки такого канала возникли еще в XVIII веке, когда российские купцы искали способ переправлять лес и другие грузы из холодных вод Белого моря к портам Балтики без того, чтобы плыть по северным морям вдоль длинного берега Норвегии[265].

Во-вторых, проект был чрезвычайно, до безрассудства амбициозным – видимо, именно поэтому никто раньше не пытался его осуществить. Длина канала составляла 227 км. Требовалось построить 19 шлюзов, 15 плотин, 49 дамб. В этих пустынных северных местах, которые не были толком исследованы, советские проектировщики могли рассчитывать только на самую примитивную технику. Однако, возможно, именно этим отчасти объясняется притягательность проекта для Сталина. Ему нужен был технологический триумф, какого не мог добиться царский режим, и он нужен был ему как можно скорее. Сталин потребовал завершения работ за двадцать месяцев. Готовому каналу было присвоено его имя.

Сталин был главной движущей силой постройки Беломорканала, и Сталин хотел, чтобы канал был построен именно заключенными. До начала работ он с яростью обрушивался на тех, кто, учитывая сравнительно небольшой объем перевозок между двумя морями, сомневался в необходимости столь грандиозной стройки. “Говорят, – писал он Молотову, – что Рыков и Квиринг хотят потушить дело Северного канала вопреки решениям ПБ. Нужно их осадить и дать им по рукам”. На заседании Политбюро, посвященном каналу, Сталин написал Молотову записку, текст которой ясно говорит о том, на чей труд он рассчитывал: “Что касается Северной части канала, <…> имею в виду ее постройку главным образом силами ГПУ. Одно-

[264] ГАОПДФРК, ф. 26, оп. 1, д. 41.

[265] *Беломорско-Балтийский канал*.

временно надо поручить еще раз подсчитать расходы по осуществлению первой части. <…> Слишком много”[266].

Предпочтения Сталина не были тайной. На торжественном заседании после окончания строительства канала начальник Беломоро-Балтийского ИТЛ (Белбалтлага) восхвалял “смелость идеи т. Сталина” о сооружении этого “гиганта гидротехники”, особо отмечая тот “замечательный факт”, что “работа была выполнена не обычной рабочей силой”[267]. Воздействие Сталина видно и по быстроте, с какой работы были начаты. Решение о строительстве было принято в середине 1931-го, а начало стройки датируется сентябрем того же года, так что разведка и предварительные инженерные работы заняли всего несколько месяцев.

В административном, материальном и даже психологическом смысле первые лагеря для заключенных, занятых на Беломорканале, были порождением СЛОНа. Лагеря канала были организованы по соловецкому образцу, укомплектованы соловецкими кадрами, и в них использовалось соловецкое имущество. Едва начались работы, руководство немедленно перебросило на эту стройку многих заключенных из подразделений СЛОНа на материке и на самих Соловецких островах. Некоторое время старая администрация СЛОНа и новая администрация Беломорканала, возможно, даже конкурировали за контроль над проектом – но канал победил. В конце концов СЛОН перестал существовать как независимая единица. Соловецкий кремль был превращен в “спецтюрьму”, а Соловецкий лагерь стал одним из подразделений Белбалтлага. ОГПУ перебросило с Соловков на канал некоторое количество охранников и ряд видных начальников, в том числе, как было сказано, Нафталия Френкеля, который возглавлял работы на Беломорканале с ноября 1931 года до их завершения[268].

Согласно воспоминаниям бывших заключенных, хаос, царивший на строительстве канала, был просто баснословным. Из экономии вместо металла и цемента использовали древесину, песок и камень. Где только возможно, изворачивались, стараясь снизить расходы. После долгих споров канал решено было вырыть на глубину 5 метров, чего едва хватало для морских судов. Поскольку современная техника была слишком дорога или недоступна, к работам, длившимся двадцать один месяц, привлекли огромное количество неквалифицированной рабочей силы – примерно 170 000 заключенных и спецпереселенцев, чьими главными орудиями были лопаты, незатейливые ручные пилы, кирки и тачки[269].

На фотографиях, сделанных в то время, эти инструменты и приспособления, конечно, выглядят примитивными, но лишь более пристальный взгляд позволяет понять, насколько они примитивны. Некоторые из них можно увидеть сейчас в Медвежьегорске, который был в свое время главными воротами канала и “столицей” Белбалтлага. Ныне захолустный карельский городок, он приметен только своей огромной, пустой, изобилующей тараканами гостиницей и маленьким местным историческим музеем. Там можно видеть кирки – кое-как заостренные куски металла, притянутые к рукояткам полосками кожи или веревками. Пила – металлическое полотно с грубо вырезанными зубьями. Чтобы разбивать большие каменные глыбы, заключенные вместо динамита пользовались кувалдами и железными клиньями.

Все – от тачек до строительных лесов – изготовлялось вручную. Один заключенный вспоминал, что “техники не было никакой. Даже обыкновенные автомашины были редкостью. Все делалось вручную, иногда с помощью лошадей: вручную копали и вывозили на тачках землю, вручную бурили скалу и вывозили камни”[270]. Даже советская пропаганда хвалилась тем,

---

[266] *Письма И. В. Сталина В. М. Молотову*. С. 214–215. *Письма И. В. Сталина В. М. Молотову*. С. 214–215.

[267] *ГУЛАГ в Карелии*. С. 76. В этой книге опубликованы документы из карельских архивов.

[268] *Система ИТЛ в СССР*. С. 163.

[269] Baron. P. 640–641; см. также: Чухин. *Каналоармейцы.*

[270] *ГУЛАГ в Карелии*. С. 86.

что камни вывозят на “беломорских фордах” – тяжелых деревянных площадках, положенных на четыре деревянных катка[271].

Условия жизни на канале, вопреки усилиям начальника ОГПУ Генриха Ягоды, несшего политическую ответственность за проект, были столь же примитивными. Он, по-видимому, искренне считал, что для того, чтобы стройка была окончена вовремя, жизнь заключенных нужно сделать сносной, и он неоднократно побуждал лагерное начальство лучше с ними обращаться, “чтобы заключенные были своевременно накормлены, одеты и обуты”. Начальство как могло слушалось. Например, в 1933-м начальник Соловецкого лагеря требовал от подчиненных, помимо прочего, устранить очереди в столовой, ликвидировать воровство на кухне и ограничить время вечерней поверки одним часом. Официально пайки были в целом выше, чем несколько лет назад, заключенным рекомендовалось давать колбасу и чай. По правилам им раз в год полагался новый комплект рабочей одежды[272].

Тем не менее чрезвычайная спешка и плохое планирование неизбежно приводили к огромным человеческим страданиям. По ходу работ вдоль канала надо было строить все новые подразделения лагеря. Прибывая на каждый из этих новых участков, заключенные и ссыльные находили голое место. Прежде чем начинать работу, они должны были построить себе бараки и организовать снабжение продовольствием, и случалось так, что жестокий холод карельской зимы убивал их раньше, чем они успевали это сделать. Согласно некоторым оценкам, на канале погибло более 25 000 заключенных, не считая отпущенных из-за болезни или увечья и умерших вскоре после освобождения[273]. Выдающийся ученый А. Ф. Лосев писал жене из Свирлага, где он находился перед отправкой на Беломорканал, что “многие с сожалением вспоминают Бутырки, так как набиты мы (в мокрых и холодных палатках) настолько, что если ночью поворачивается с боку на бок кто-нибудь один, то с ним должны поворачиваться еще человека 4–5…” Отчаянно звучит рассказ человека, который мальчиком в составе семьи ссыльных раскулаченных оказался в одном из поселений, только что построенных вдоль канала:

> Мы попали жить в барак с двумя ярусами нар. Из-за малых детей нашу семью поместили на первый ярус. Бараки были длиннющими и холодными. Печи топили круглосуточно, благо с дровами в Карелии был полный достаток. <…> Наш кормилец-отец получал на всю нашу ораву в день третью часть ведра зелено-бурой баланды, где в мутной жиже плавали 2–3 зеленых помидора или огурца, пара кусочков мороженой картошки да болтались 100–200 крупинок перловки или чечевицы.

Он вспоминал, что отец, строивший жилье для поселенцев, получал 600 граммов хлеба, сестра – 400 граммов. Этим должна была довольствоваться семья из девяти человек[274].

Тогда, как и позднее, некоторые из этих фактов получали отражение в официальных бумагах. На заседании расширенного пленума парткома Белбалтлага в августе 1932-го звучали жалобы на плохую организацию питания, на грязные кухни и на растущую заболеваемость цингой. Ответственный секретарь парткома выразил опасение, что сроки строительства будут сорваны[275].

Но большинство не могло позволить себе такую роскошь, как сомнение. В письмах и отчетах людей, отвечавших за те или иные участки строительства, слышны панические ноты. Сталин потребовал построить канал за двадцать месяцев, и те, на кого эта задача была воз-

---

[271] *Беломорско-Балтийский канал*; Солженицын. *Архипелаг ГУЛАГ*. Часть третья. Гл. 3 / *Мал. собр. соч*. Т. 6. С. 62.

[272] *ГУЛАГ в Карелии*. С. 96 и 19–20.

[273] Baron. P. 643.

[274] *ГУЛАГ в Карелии*. С. 37 и 197.

[275] Там же. С. 43–44.

ложена, прекрасно понимали, что от ее своевременного решения зависит их благополучие, а может быть, и сама жизнь. Для ускорения работ лагерное начальство взяло на вооружение методы, уже опробованные в “свободном” трудовом мире, – “социалистическое соревнование” между бригадами, “штурмовые ночи”, когда заключенные “добровольно” работали двадцать четыре, а то и сорок восемь часов подряд. Один заключенный вспоминал, что работы шли круглосуточно при тусклом электрическом свете[276]. Другой в награду за хороший труд получил 10 кг муки и 5 кг сахара. Он отдал муку на пекарню. Там ему испекли белый хлеб, и он его ел один[277].

Наряду с соцсоревнованием начальство насаждало культ “ударников”. Ударники из числа заключенных за перевыполнение нормы получали добавочную еду и некоторые другие привилегии, в том числе право (немыслимое в более поздние годы) на новый костюм раз в год и на новую рабочую одежду раз в полгода[278]. Лучших работников кормили гораздо лучше, чем прочих. В столовой они получали еду через отдельное окно выдачи, над которым висел плакат: “Лучшим – лучшее питание”. А над другим окном – другой плакат: “Здесь получают пищу худшие: отказчики, прогульщики, лодыри”[279].

Хорошие работники могли, кроме того, рассчитывать на раннее освобождение: за три дня стопроцентного выполнения нормы срок заключения уменьшался на день. В августе 1933 года, когда строительство было завершено вовремя, 12 484 заключенных были выпущены на свободу. Многие получили ордена и медали[280]. Один бывший “каналоармеец” вспоминал, что его и других освобождаемых встречали хлебом-солью и криками: “Ура строителям канала!” На радостях он принялся целовать незнакомую женщину. Потом он всю ночь просидел с ней на берегу канала[281].

Строительство Беломорканала примечательно во многих отношениях. Его отличали всеобъемлющий хаос, колоссальная спешка, важность, которую ему придавал Сталин. И поистине уникальна была сопровождавшая его риторика: Беломорканал был первым и единственным проектом ГУЛАГа, на который были направлены все яркие прожекторы советской пропаганды как в Советском Союзе, так и за границей. Человеком, избранным для того, чтобы объяснить, оправдать и прославить эту стройку на родине и за рубежом, стал не кто иной, как Максим Горький.

В этом нет ничего удивительного. К тому времени Горький превратился в полноценного и преданного члена сталинской иерархии. После триумфального плавания Сталина по только что оконченному каналу в августе 1933 года Горький возглавил такое же путешествие ста двадцати советских писателей. Писатели (по крайней мере по их словам) были настолько воодушевлены, что едва могли держать в руках блокноты – дрожали пальцы[282]. Те, кто решил участвовать в написании книги о канале, получили и неплохое материальное вознаграждение, включавшее в себя “невероятный обед в банкетном зале ленинградского ресторана «Астория»”[283].

Даже на общем неприглядном фоне социалистического реализма книга “Беломорско-Балтийский канал имени С талина” выделяется как свидетельство нравственного падения писателей и интеллектуалов в тоталитарном обществе. Как и очерк Горького о Солов-

[276] Там же. С. 197.
[277] Чухин. *Каналоармейцы.* С. 121.
[278] *ГУЛАГ в Карелии*. С. 19–20.
[279] Чухин. *Каналоармейцы*. С. 12.
[280] ГУЛАГ в Карелии. С. 72–73.
[281] Чухин. *Каналоармейцы.* С. 127–131.
[282] Tolszyk. P. 152.
[283] Баранов. С. 168.

ках, “Беломорско-Балтийский канал” пытается доказать недоказуемое, претендуя не только на демонстрацию духовного преображения заключенных в сияющие образцы *Homo sovieticus,* но и на создание литературы нового типа. Предисловие и послесловие были написаны Горьким, однако ответственность за книгу взял на себя целый авторский коллектив из тридцати шести человек. Используя цветистый язык, гиперболу и передержки, они задались целью выразить дух новой эпохи. Одна из приведенных в книге фотографий заключает в себе ее тему: женщина в арестантской одежде с громадной сосредоточенностью работает отбойным молотком. Подпись гласит: “Изменяя природу, человек изменяет самого себя”. Контраст с хладнокровной безжалостностью документов комиссии Янсона и экономических планов ОГПУ впечатляет.

У тех, кто не знаком с жанром, некоторые особенности соцреалистического “Беломорско-Балтийского канала” могут вызвать удивление. Книга не пытается скрыть правду полностью – например, в ней говорится о трудностях из-за нехватки техники и специалистов. Приводится разговор Матвея Бермана, в то время возглавлявшего ГУЛАГ, с подчиненным:

> – Вот тебе тысяча здоровых людей. Они осуждены советской властью на различные сроки, и с этими людьми ты должен создать дело.
> – Позволь, а где же охрана?
> – Охрану ты сформируешь на месте. Сам отберешь из бытовиков.
> – Хорошо, но что я понимаю в нефти?
> – Возьми себе в помощники заключенного, инженера Духановича.
> – Тоже инженер! Он по холодной обработке металлов!
> – Что ж ты хочешь? Осуждать в лагеря желательные тебе профессии? Такой статьи в кодексе нет. А мы тебе не Нефтесиндикат.

С этими словами Берман отправил сотрудника ОГПУ делать свою работу. “Сумасшедшее дело!” – замечают авторы “Канала”. “Через месяц-другой” этот сотрудник и ему подобные хвастаются друг перед другом успехами, которых они добились с помощью своих разношерстных арестантских бригад. “У меня есть полковник. Лучший на весь лагерь лесоруб”, – с гордостью говорит один. “У меня прораб по земляным работам – кассир-растратчик”, – заявляет другой[284].

Смысл ясен: условия тяжелые, грубый человеческий материал нуждается в обработке, но всезнающие и всепобеждающие чекисты несмотря ни на что добиваются успеха и превращают преступников в советских людей. Так реальные факты – примитивность техники, нехватка специалистов – использовались для того, чтобы сделать более правдоподобной фантастическую в иных отношениях картину лагерной жизни.

Немалую часть книги составляют греющие душу квазирелигиозные истории о “перековке” работающих на канале заключенных.

Многие из “заново родившихся” уголовники, но не все. В отличие от очерка Горького о Соловках, где о политзаключенных сказано вскользь и их количество преуменьшено, “Беломорско-Балтийский канал” представляет читателю некоторых ярких “новообращенных” из числа политических. Инженер Маслов, бывший “вредитель”, “пытался иронией прикрыть те серьезные и глубокие процессы перестройки сознания, которые непрерывно шли в нем по мере его врастания в работу”. Инженер Зубрик, “вредитель” из пролетарской среды, “честно заработал свое право снова вернуться в лоно родного класса”[285].

Эта книга не была единственным литературным произведением эпохи, где восхвалялась преображающая сила лагерей. Другой яркий пример – “Аристократы”, комедия Николая Погодина о Беломорканале. Не в последнюю очередь пьеса интересна тем, что она разрабаты-

---

[284] *Беломорско-Балтийский канал*. С. 102.

[285] Там же. С. 115, 292–299.

вает раннебольшевистскую тему “привлекательности” воров. Впервые исполненная в декабре 1934-го пьеса Погодина, по которой позднее был поставлен фильм “Заключенные”, игнорирует “кулаков” и политзаключенных, составлявших большинство строителей канала, и изображает веселые шутки и выходки лагерных уголовников (тех самых “аристократов”), слегка подкрашивая их язык блатным жаргоном. Правда, звучат в пьесе и одна-две зловещие ноты. Один уголовник “выигрывает” в карты девушку: проигравший должен предоставить ее в его распоряжение. В пьесе девушка спасается – в жизни ей, скорее всего, повезло бы меньше.

В финале, однако, все раскаиваются в былых преступлениях, видят свет и с энтузиазмом приступают к труду. Звучит песня:

Я был жестокий бандит, конечно, да…
Грабил народ, не любил труда,
Как черная ночь моя жизнь была
И меня, конечно, на канал привела.
Все, что было, стало как страшный сон.
Я вроде как будто снова рожден.
Трудиться, и жить, и петь хочу,
От радости слезы текут, и, конечно, я молчу[286].

В ту эпоху все это приветствовалось как новый, прогрессивный театр. Польский социалист Ежи Гликсман, видевший “Аристократов” в Москве в 1935-м, описал свое впечатление:

> Сцена располагалась не на обычном месте, а в центре зала, зрители сидели вокруг нее. Целью режиссера было приблизить их к действию пьесы, ликвидировать разрыв между зрителями и актерами. Никакого занавеса, декорации чрезвычайно простые – почти как в английском театре елизаветинских времен… Завораживала сама тема – жизнь в трудовом лагере[287].

Во внелагерном мире такая литература играла двоякую роль. Во-первых, она помогала оправдывать быстрый рост лагерей в глазах зарубежных скептиков, чему власти по-прежнему уделяли внимание. Во-вторых, она должна была успокаивать советских граждан, встревоженных жестокими методами индустриализации и коллективизации, обещая им счастливую развязку: даже жертвам сталинского переустройства общества дается шанс обрести в трудовых лагерях новую жизнь.

Пропаганда была действенной. Посмотрев “Аристократов”, Гликсман выразил желание увидеть настоящий лагерь. К его удивлению, оно вскоре было исполнено: его привезли в подмосковное Болшево в показательную “трудовую коммуну” для несовершеннолетних правонарушителей. Позднее он описывал “симпатичные белые кровати и постельные принадлежности, отличные прачечные. Все сияло чистотой”. Он встретился с группой юных заключенных, которые рассказали ему примерно такие же вдохновляющие личные истории, как те, что можно было прочесть у Погодина и Горького. Он познакомился с бывшим вором, который теперь учился на инженера, с бывшим хулиганом, осознавшим свои ошибки и теперь заведовавшим складом коммуны. “Каким прекрасным может быть мир!” – шепнул Гликсману на ухо кинорежиссер из Франции. К несчастью для Гликсмана, через пять лет он очутился на полу битком набитого “телячьего вагона”, направлявшегося в лагерь, совершенно не похожий на увиденное

[286] Погодин. С. 109–183; Геллер. С. 151–157.
[287] Gliksman. P. 165.

им в Болшеве, в обществе арестантов, не имевших ничего общего с персонажами пьесы Погодина[288].

Пропаганда подобного рода играла свою роль и внутри лагерей. Лагерные издания и стенгазеты содержали приблизительно такие же истории и стихи, как те, которыми потчевали внешний мир, но акценты были расставлены несколько иначе. Типичной выглядит газета "Перековка", которую делали заключенные на строительстве канала Москва – Волга (проект был затеян на гребне "успеха" Беломорканала). Наполненная похвалами в адрес ударников и описаниями их привилегий (говорится, например, что еду им приносят на стол – в очереди стоять не надо), "Перековка" уделяет меньше внимания гимнам духовному перерождению, чем "Беломорско-Балтийский канал", и делает больший упор на конкретных преимуществах, которые дает заключенному ударный труд.

Не так много здесь и претензий на высшую справедливость советской системы. В номере за 18 января 1933 года приводится речь Лазаря Когана, начальника строительства канала Москва – Волга: "Мы не можем входить в обсуждение вопроса – правильно или неправильно ты заключен в лагерь. Это не наше дело. В крайнем случае это дело прокуратуры или высших контрольных инстанций. <…> Ты должен своим трудом создать государству нужные ценности, а мы обязаны сделать из тебя ценного для государства человека"[289].

Также обращает на себя внимание отдел жалоб "Перековки", полный весьма откровенных публикаций. Заключенные жаловались, с одной стороны, на "склоки, ругань, потасовки" в женских бараках, с другой – на пение там религиозных гимнов, на невыполнимые нормы, на нехватку обуви и чистого белья, на дурное обращение с лошадьми, на базар в Дмитрове поблизости от лагеря, на неправильное использование техники. Столь открытого обсуждения лагерных проблем позднее уже не было – оно стало достоянием секретных отчетов, направлявшихся сотрудниками органов прокурорского надзора своему московскому начальству. Однако в начале 1930-х годов такая "гласность" была обычным явлением как в лагерях, так и вне их. Она составляла неотъемлемую часть взвинченного, неистового стремления улучшить условия, усовершенствовать методы труда и, самое главное, выполнить лихорадочно нагнетаемые требования сталинского руководства[290].

Идя сегодня по берегу Беломорканала, очень трудно вообразить почти истерическую атмосферу тех лет. Я была там в сонный августовский день 1999 года в обществе нескольких местных историков. Мы ненадолго остановились у стелы в Повенце, на которой выбита надпись: "Безвинно погибшим на строительстве Беломорканала в 1931–1933 годах" Один из моих спутников по традиции выкурил папиросу "Беломор". Он объяснил мне, что этот сорт, в свое время самый популярный в СССР, был на протяжении десятилетий единственным памятником строителям канала.

Невдалеке – старый "трудпоселок", где раньше жили ссыльные, ныне практически пустой. Большие, в свое время добротные карельские избы стоят заколоченные. Некоторые покосились. Здешний житель, уроженец Белоруссии – он даже говорит немного по-польски, – сказал нам, что несколько лет назад хотел купить один из домов, но местные власти не разрешили. "Теперь все разваливается", – сказал он. В огороде за домом у него растут тыквы, огурцы, ягодные кусты. Он угостил нас домашней настойкой. С огородом и пенсией в 550 рублей (в то время примерно 22 доллара) в месяц жить, сказал он, можно. На канале, конечно, работы нет.

И неудивительно: в самом канале купались и швырялись камешками мальчишки. По мелкой темной воде брели коровы, сквозь трещины в бетоне проросла трава. У одного из шлюзов

[288] Ibid. P. 173–178.

[289] ГАРФ, ф. 9414, оп. 4, д. 1; Перековка. 18 января 1933.

[290] ГАРФ, ф. 9414, оп. 4, д. 1; Перековка. 20 декабря 1932–30 июня 1934.

в небольшом строении с розовыми занавесками на окнах и колоннами в настоящем сталинском стиле одинокая женщина, следящая за уровнем воды в канале, сказала нам, что в день проходит самое большее семь судов, а часто всего три-четыре. Это чуть больше, чем увидел в 1966 году Солженицын, когда он провел на берегу канала восемь часов, за которые мимо него прошли две самоходные баржи с бревнами, годными только на дрова. Тогда, как и сейчас, большую часть грузов перевозили по железной дороге; к тому же, как сказал ему начальник охраны шлюза, канал такой мелкий, что “даже подводные лодки своим ходом не проходят: на баржи их кладут, тогда перетягивают”[291].

Водный путь от Балтийского до Белого моря оказался, выходит, не таким уж насущно необходимым.

[291] Солженицын. *Архипелаг ГУЛАГ*. Часть третья. Гл. 3 / *Мал. собр. соч*. Т. 6. С. 71.

Глава 5
ГУЛАГ расширяется

Мы идем, а за нами следом
Всем бригадам весело идти.
Впереди стахановской победой
Нам открылись новые пути.
<…>

Старый путь уж будет нам неведом,
Мы из ямы вышли на подъем,
По пути стахановской победы
В жизнь свободную уверенно идем.

Нэра Еронина.
Лагерная газета “Кузница”.
Сазлаг, 1936 год

Вполитическом отношении Беломорканал был самым важным гулаговским проектом эпохи. Из-за личной заинтересованности Сталина на его постройку были брошены все имеющиеся ресурсы. О ее успешном завершении везде и всюду громко трубила пропаганда. Однако канал не был типичным проектом новосозданного ГУЛАГа. Не был он, кроме того, ни его первым проектом, ни самым крупным из них.

Еще до того как началась прокладка канала, ОГПУ тихо, без всякой пропагандистской шумихи приступило к развертыванию сети лагерей по всей стране. К середине 1930-х система ГУЛАГа уже имела в своем распоряжении 300 000 заключенных, распределенных по десятку с лишним крупных лагерных комплексов и ряду небольших пунктов. 15 000 человек трудились в Дальлаге на Дальнем Востоке. Более 20 000 заключенных Вишлага на Северном Урале, созданного на базе Соловецкого ИТЛ, были заняты на строительстве химических и целлюлозно-бумажных заводов. Заключенные Сиблага в Западной Сибири строили железные дороги, трудились на лесозаготовках и на кирпичных заводах. 40 000 человек, содержавшихся в СЛОНе, строили дороги, заготавливали лес на экспорт и перерабатывали 40 процентов рыбы, которая вылавливалась в Белом море[292].

В отличие от Белбалтлага эти новые лагеря не предназначались для показа. Хотя они, безусловно, имели большее значение для советской экономики, изучать их не ездили группы писателей. Их существование не было (пока что) абсолютным секретом, но их и не рекламировали: “реальные” достижения ГУЛАГа служили не для пропаганды внутри страны и тем более за рубежом.

По мере расширения системы лагерей менялась и деятельность ОГПУ. Хотя советская тайная полиция, как и раньше, выискивала и допрашивала подлинных и мнимых врагов режима, вынюхивала всевозможные “заговоры”, с 1929 года она, кроме того, взяла на себя часть ответственности за экономическое развитие страны. В следующем десятилетии чекисты даже стали своего рода первопроходцами: нередко именно они организовывали разведку и эксплуатацию советских природных ресурсов. Они планировали и снаряжали геологические экспедиции, искавшие в тундре уголь, нефть, золото, никель и другие полезные ископаемые. Они решали, в каких громадных лесных массивах заготавливать древесину, столь необходи-

[292] Хлевнюк. *Принудительный труд…* С. 75–76.

мую для экспорта. Для перевозки сырья в крупные города и промышленные центры страны они создали большую сеть примитивных автомобильных и железных дорог, протянувшихся через дикие, малообитаемые места на тысячи километров. Иногда они лично принимали участие в экспедициях – шли через тундру, одетые по-северному, сообщали о находках в Москву.

Заключенные, как и тюремщики, порой осваивали новые роли. Хотя многие, конечно, продолжали трудиться за колючей проволокой, добывать уголь, рыть котлованы, некоторым из них в первой половине 1930-х годов приходилось тянуть лодки на бечеве по северным рекам, нести геологическое оборудование, бурить землю на местах будущих угольных шахт и нефтяных скважин. Они строили бараки для новых лагерей, натягивали колючую проволоку, воздвигали караульные вышки. Они сооружали заводы для переработки полезных ископаемых, клали шпалы, лили цементный раствор. В итоге они же и заселили вновь освоенные дикие земли.

Позднее советские историки красиво назвали произошедшее “открытием Крайнего Севера”. Это поистине был решительный шаг. Даже в последние десятилетия царской власти, когда в России началась запоздалая промышленная революция, никто не пытался так активно исследовать и заселять северные районы страны. Слишком суров был климат, слишком велик риск человеческих страданий, слишком примитивна технология. Советский режим куда меньше беспокоили такие соображения. Технология пусть ненамного, но улучшилась; что же касается жизни первопроходцев, ею власть спокойно могла пожертвовать. Если некоторые из них погибнут – ничего, найдутся другие.

Трагедии случались сплошь и рядом, особенно в начале новой эпохи. Недавно достоверность одной страшной истории, долго бытовавшей среди бывших заключенных, была подтверждена документом, найденным в новосибирском архиве. В письме, адресованном лично Сталину в августе 1933 года, инструктор Нарымского окружкома в подробностях описывает прибытие высланных трудпоселенцев (автор называет их “деклассированными элементами”) на остров Назина на Оби. Там их должны были разбить на группы для дальнейшего расселения.

Первый эшелон составлял 5070 человек, второй – 1044. Всего 6114 человек. В пути, особенно в баржах, люди находились в крайне тяжелом состоянии: скверное питание, скученность, недостаток воздуха <…> В результате, помимо всего прочего, высокая смертность. Например, в первом эшелоне она достигала 35–40 человек в день. <…>

Жизнь в баржах казалась роскошью, а пережитые там трудности сущими пустяками по сравнению с тем, что постигло эти оба эшелона на острове Назина <…> Сам остров оказался совершенно девственным, без каких бы то ни было построек. <…>

При этом на острове не оказалось никаких инструментов, ни крошки продовольствия. <…>

На второй день прибытия первого эшелона, 19 мая, выпал снег, поднялся ветер, а затем мороз. Голодные, истощенные люди, без кровли, не имея никаких инструментов, <…> очутились в безвыходном положении. Обледеневшие, они были способны только жечь костры, сидеть, лежать, спать у огня, бродить по острову и есть гнилушки, кору, особенно мох и пр. <…> Люди начали умирать. <…>

В первые сутки после солнечного дня бригада могильщиков смогла закопать только 295 трупов <…> И только на четвертый или пятый день прибыла на остров ржаная мука, которую и начали раздавать трудпоселенцам по нескольку сот граммов.

Получив муку, люди бежали к воде и в шапках, портянках, пиджаках и штанах разводили болтушку и ели ее. При этом огромная часть их просто съедала муку (так, как она была, в порошке), падали и задыхались, умирали от удушья. Во время жизни на острове (от 10 до 30 суток) трудпоселенцы получали муку, не имея никакой посуды…

К 20 августа, пишет дальше партийный инструктор, почти 4000 из 6114 трудпоселенцев умерло. Было много случаев людоедства. По свидетельству одного заключенного, который видел некоторых выживших в Томске по дороге в тюрьму, “это было сборище ходячих трупов, среди которых было человек 12 упитанных и откормленных людей”. Потом он узнал, что против всех этих зэков – и упитанных, и истощенных – выдвинуто обвинение в людоедстве[293].

Даже если в других местах смертность была не столь ужасающей, условия жизни на многих из самых известных ранних строек ГУЛАГа могли быть почти такими же невыносимыми. Бамлаг, занимавшийся строительством Байкало-Амурской магистрали и развитием Транссибирской железной дороги, стал одним из примеров того, к каким плачевным результатам приводит плохое планирование. Как и Беломорканал, железная дорога прокладывалась в великой спешке, без должной подготовки. Лагерные начальники приступили к ее строительству до того, как были окончены проектно-изыскательские работы. Изыскательские партии, не получившие необходимой обуви, одежды и оборудования, должны были представить отчет о трассе длиной в 2000 км за четыре месяца. Карты были неточными, в результате чего совершались дорогостоящие ошибки. Согласно воспоминаниям одного участника работ, “две соседние партии не могли сомкнуться и закончить работу, так как реки, по которых они шли, имели сближенные верховья только на карте, на местности же далеко отстояли друг от друга”[294].

В лагерь, администрация которого располагалась в городе Свободном, начали прибывать этапы заключенных. Между январем 1933 и январем 1936 года их количество выросло от нескольких тысяч до 180 000 с лишним. Многие приезжали крайне ослабевшими, без обуви и плохо одетыми, многие страдали цингой, сифилисом, дизентерией. Часть из них составляли люди, пережившие голод начала 1930-х годов. Лагерь был совершенно не готов к приему этапов. Одна партия слабосильных, полураздетых заключенных после переброски на сильном морозе была размещена в темном, промерзшем бараке без печки и получила “хлеб, который нужно было распиливать пилой”. Начальники Бамлага не могли преодолеть хаос и признавали это в донесениях, направляемых в Москву. Они не знали, что делать с ослабевшими заключенными. Тем, кто не мог работать, просто назначали штрафные пайки, и люди умирали от голода. В одном из документов говорится, что за 37 дней умерло 29 человек, из них 21 – от истощения[295]. Вполне возможно, что за время существования лагеря в нем погибли десятки тысяч человек.

Подобное происходило повсюду. В 1929 году на строительстве железной дороги к северо-востоку от Архангельска силами Севлага инженеры решили, что количество заключенных, привлекаемых к работам, надо увеличить в шесть раз. В апреле – октябре этого года, соответственно, начали прибывать этапы – прибывать на пустое место. Один бывший заключенный вспоминал: “Ни барака, ни поселка. Палатка на краю для охраны и склада. Людей немного, тысячи полторы. Большинство – крестьяне средних лет, из раскулаченных. И урки. Интеллигенции не видно…”[296]

Хотя все лагерные комплексы, созданные в начале 1930-х, первое время были плохо организованы и хотя все они не были готовы к приему истощенных людей из голодных районов, кое-где начальству удалось справиться с губительным хаосом. При сравнительно благоприятных местных обстоятельствах в сочетании с сильной поддержкой из Москвы некоторые из ком-

---

[293] Werth, Nicolas, *A State against its People: Violence, Repression and Terror in the Soviet Union,* в книге Courtois, p. 154. Сообщение об этом эпизоде, переданное анонимным заключенным, который встретил в Томске некоторых назинцев, приводится также в сборнике "Память", т. I, с. 342–343; см. также: Красильников. *Спецпереселенцы в Западной Сибири, 1933–1938.* С. 76–119.

[294] Еланцева. Статья основана на документах, найденных в Центральном государственном архиве Российской Федерации Дальнего Востока (г. Томск).

[295] Там же; *Система ИТЛ в СССР.* С. 153.

[296] Морозов Н. А. *ГУЛАГ в Коми крае.* С. 104.

плексов начали расти и развиваться. Удивительно быстро в них возникли более или менее стабильные административные структуры, основательные здания и даже местная чекистская элита. Некоторые из этих комплексов со временем стали занимать обширные районы страны, превратив их в колоссальные тюрьмы. Из лагерей, созданных в те годы, два – Ухтинская экспедиция и трест “Дальстрой” – приобрели в итоге размер и статус промышленных империй. Их возникновение и развитие заслуживает внимания.

Малонаблюдательному пассажиру автомобильная поездка по не слишком хорошему бетонному шоссе из Сыктывкара (столицы Республики Коми) в Ухту (один из ее главных промышленных центров) может показаться совершенно неинтересной. 200-километровая дорога, местами очень неважная, идет через бесконечные хвойные леса и болота. Дорога пересекает несколько рек, в остальном же вид однообразен: тайга.

Однако более пристальному взгляду открываются некоторые особенности. Если вы знаете, куда смотреть, кое-где можно заметить углубления в земле почти у самой обочины. Это единственное свидетельство о лагере, который в свое время тянулся вдоль дороги, и о бригадах заключенных, которые строили это шоссе. Их пребывание на участках строительства было временным, поэтому часто они жили здесь не в бараках, а в землянках, от которых и остались углубления.

Другой отрезок шоссе проходит мимо места, где в прошлом качали нефть, – там от лагеря сохранилось больше. Участок зарос травой и кустарником, но, раздвигая их, можно увидеть гниющие доски (сохранившиеся, возможно, благодаря пропитавшей их нефти, которая стекала с обуви заключенных) и обрывки колючей проволоки. Здесь нет памятника, но дальше по дороге стоит обелиск на месте пересыльного пункта в Вогваздино, где содержалось до 25 000 заключенных. От лагеря там ничего не осталось. Но на другом участке шоссе, позади современной заправочной станции, принадлежащей “Лукойлу”, стоит старая деревянная караульная вышка, окруженная металлическим мусором и кусками ржавой проволоки.

Тому, кто побывает в Ухте в обществе человека, хорошо знающего город, очень быстро откроется здешняя тайная история. Все дороги, ведущие в город, были построены заключенными, они же возвели все административные и жилые здания в центре Ухты. Посреди города – парк, распланированный и разбитый архитекторами из заключенных; здесь же театр, где играли заключенные артисты, и крепкие деревянные дома, где обитало в свое время лагерное начальство. Ныне на той же самой обсаженной деревьями улице стоят и современные здания, где живут менеджеры из “Газпрома”.

Ухта не уникальна для Республики Коми. Если приглядеться, следы ГУЛАГа можно увидеть здесь повсюду. Все главные города республики: Сыктывкар, Печора, Воркута, Инта – распланированы и возведены заключенными. Они строили здесь автомобильные и железные дороги, создавали промышленную инфраструктуру. Тем, кто отбывал здесь срок в 1940-1950-е годы, Коми АССР казалась одним огромным лагерем – да так оно и было. Многие ее поселки местные жители и теперь называют так же, как в сталинскую пору: например, “китайский поселок” – место, где содержали заключенных китайцев; “Берлин” – память о немецких военнопленных.

Зарождение этой громадной “зоны” связано с одной из первых экспедиций ОГПУ – Ухтинской экспедицией, организованной в 1929 году для исследования совершенно диких в то время земель. По советским меркам экспедиция была неплохо подготовлена. В ней с избытком хватало специалистов, которые большей частью были заключенными Соловецкой лагерной системы: только в 1928 году в СЛОН было отправлено 68 горных инженеров – жертв борьбы с “вредителями” и “саботажниками”[297].

[297] Канева. Мой рассказ основан на этой публикации, которая, в свою очередь, базируется на документах из архивов Коми

В ноябре 1928 года – на удивление вовремя – ОГПУ арестовало и Н. Тихановича, известного геолога. Посадив его в московскую Бутырскую тюрьму, его, однако, не подвергли обычным допросам. Вместо этого его привезли на рабочее совещание. Без лишних предисловий, вспоминал позднее Тиханович, неизвестные люди (человек восемь) стали в упор расспрашивать его, как организовать экспедицию по Коми-Зырянской автономной области. Какую одежду он бы взял? Сколько провизии? Какое снаряжение? Каким путем двигаться? Тиханович, впервые побывавший в тех местах еще в 1900 году, предложил два возможных маршрута. Первый – по суше, через тайгу и болота к Усть-Сысольску (позднее – Сыктывкар), который был тогда крупнейшим населенным пунктом региона. Или же геологи могли выбрать водный путь: из Архангельска по Белому и Баренцеву морю к устью Печоры, далее вверх по Печоре и ее притокам. Второй маршрут Тиханович назвал предпочтительным, поскольку на судах можно было доставить больше тяжелого оборудования. По его рекомендации экспедиция отправилась морем. Тиханович, который по-прежнему был заключенным, стал начальником ее геологического отдела.

Время было дорого, и средств на экспедицию не пожалели: советское руководство придавало ей первостепенную важность. В мае 1929 года Москва поручила возглавить экспедицию двум видным чекистам – бывшему начальнику охраны Смольного и Кремля Э. П. Ская и хозяйственнику ОГПУ С. Ф. Сидорову. В пересыльном пункте СЛОНа в Кеми они отобрали для экспедиции “рабочую силу” – физически крепких заключенных. В их числе были и политические, и “кулаки”, и уголовники. После еще двух месяцев приготовлений можно было отправляться. 5 июля 1929 года в семь утра заключенные начали грузить оборудование на принадлежавший СЛОНу пароход “Глеб Бокий”. Менее чем через сутки пароход со 139 заключенными отчалил.

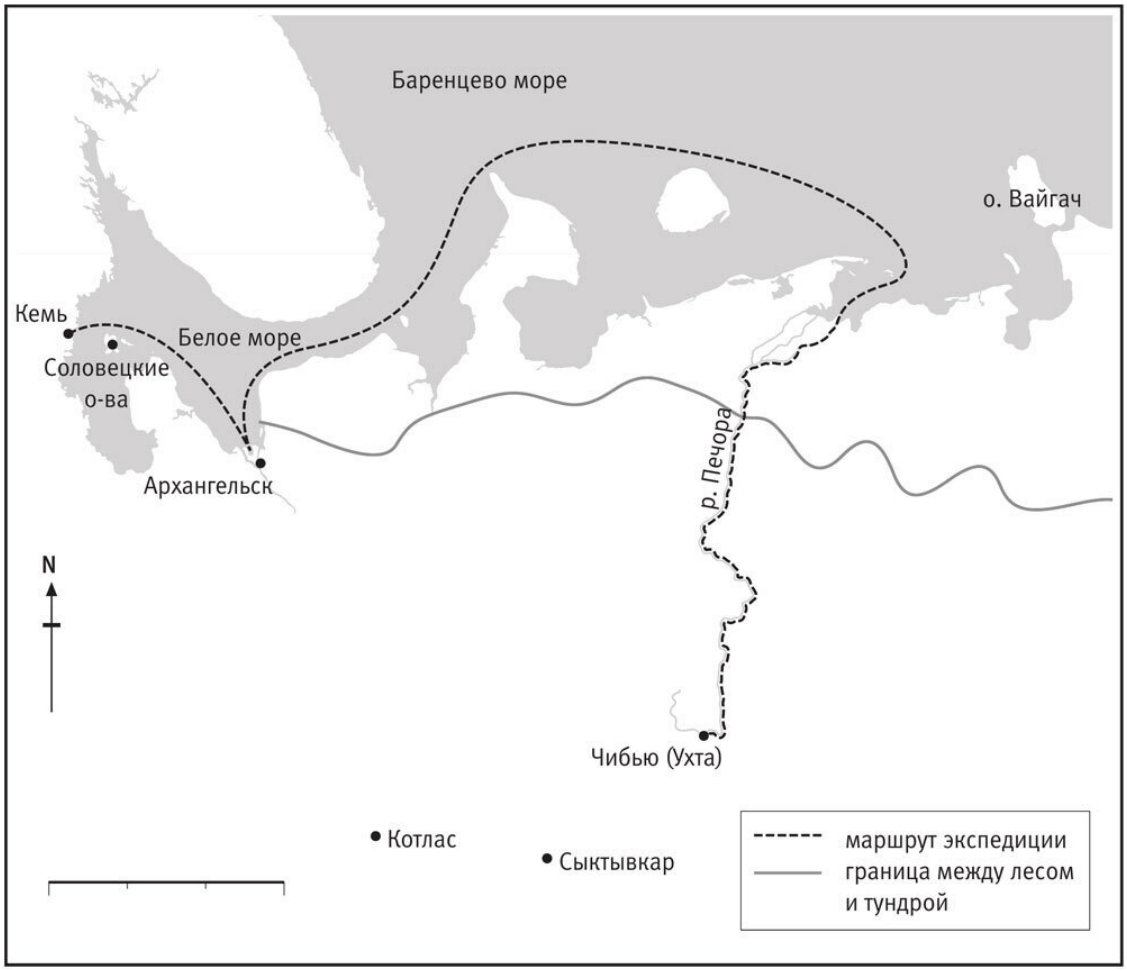
Неудивительно, что экспедиция столкнулась с многими трудностями. Некоторые конвоиры в последний момент испугались и уволились, а во время стоянки в Архангельске сбежал один надзиратель из заключенных. В дальнейшем в разных точках маршрута побег удался и кое-кому еще. Достигнув устья Печоры, экспедиция двинулась вверх по реке сначала на баржах, затем на лодках. Среди местных жителей трудно было находить проводников: коми не хотели за копейки иметь дело с заключенными. Тем не менее через семь недель экспедиция прибыла на место. 21 августа был разбит базовый лагерь в поселке Чибью (позднее переименованном в Ухту).

После изнурительного путешествия общее настроение, видимо, было подавленным. Люди проделали долгий путь – и где очутились? Места не были богаты по части земных благ. Один из заключенных специалистов, географ Кулевский, записал свое первое впечатление: “Сжималось сердце при виде дикой, пустынной картины: черная, нелепо-огромная, одинокая вышка, две убогие избушки, тайга и болота…”[298]

У него вряд ли было много времени для размышлений об увиденном. К концу августа уже чувствовалась близость осени. Отдыхать было некогда. Заключенные сразу же начали трудиться по двенадцать часов в сутки – строили лагерь, оборудовали рабочие площадки. Геологи стали определять места, где бурить землю в поисках нефти. Позднее той же осенью приехали новые специалисты. С началом сезона 1930 года стали прибывать и партии заключенных – вначале ежемесячно, а затем и еженедельно. К концу первого года экспедиции число заключенных приблизилось к тысяче.

АССР и на воспоминаниях из собрания общества "Мемориал".

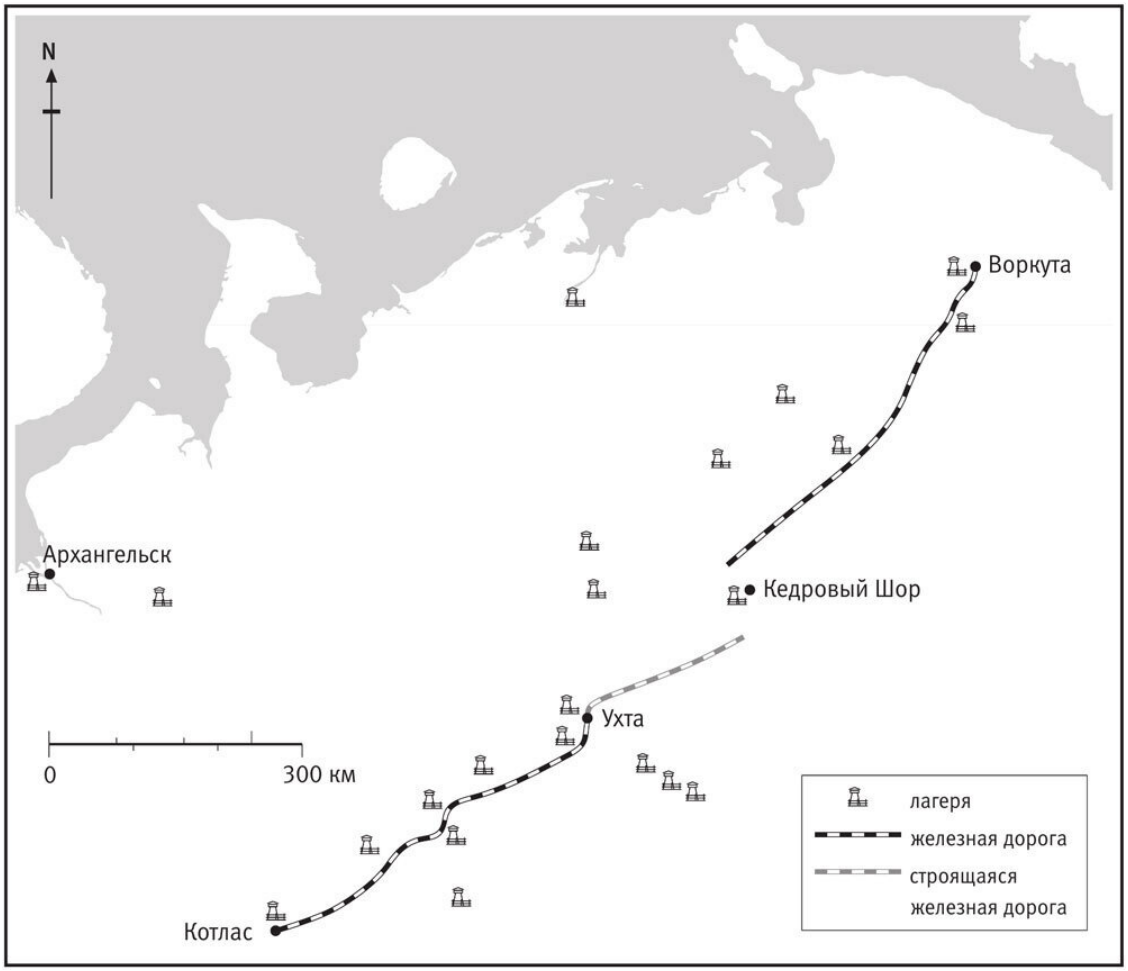
[298] Там же. С. 331 и 334–335.



Маршрут Ухтинской экспедиции. Республика Коми, 1929 год

Несмотря на подготовительные меры, условия жизни заключенных и ссыльных в тот первый период были, как и везде, ужасающими. Многие жили в палатках и землянках – бараков не хватало. Недоставало теплой одежды и обуви, недоставало продовольствия. Мука и мясо были завезены в меньшем количестве, чем заказывали. То же с медикаментами. Как признали в представленном позднее отчете начальники экспедиции, количество больных и ослабевших заключенных росло. Люди тяжело переносили изоляцию. Новые лагеря располагались в такой дали от цивилизации, в частности от дорог, что колючая проволока появилась в Коми АССР только в 1937 году. Побег считался бессмысленным.

А заключенные все прибывали и прибывали, и из базового лагеря в Ухте в тайгу отправлялись дальнейшие экспедиции. В случае успеха такая экспедиция устраивала лагпункт в совсем уж глухом месте в нескольких днях или неделях пути от Ухты. Эти лагпункты, в свою очередь, создавали еще более мелкие лагерные подразделения – например, для строительства дорог или для сельскохозяйственных работ. Так лагеря распространялись по северным лесам подобно быстрорастущим сорнякам.



Ухтпечлаг. Республика Коми, 1937 год

Некоторые экспедиции оказались временными. Такова была судьба одной из первых, которая летом 1930 года отправилась из Ухты на остров Вайгач. Более ранние геологические экспедиции уже нашли на острове месторождение свинца и цинка; тем не менее Вайгачская экспедиция была щедро укомплектована заключенными геологами. Некоторым из них за образцовую работу ОГПУ позволило жить на острове с женами и детьми. Из-за отдаленности расположения возможность побега начальство не беспокоила, и оно разрешало арестантам свободно перемещаться повсюду без особых разрешений и пропусков в компании других арестантов или вольнонаемных работников. “В целях <…> стимулирования ударничества и учитывая особо тяжелые условия работы в Арктике” начальник ГУЛАГа Матвей Берман пообещал заключенным на острове Вайгач уменьшение срока на два дня за каждый день ударного труда[299]. Однако в 1934 году в рудник стала поступать вода, и в следующем году заключенные и оборудование были вывезены с острова[300].

Другие экспедиции имели более постоянный характер. В 1931 году группа из двадцати трех человек отправилась по рекам из Ухты на север, чтобы начать разработку Воркутинского угольного бассейна – огромного месторождения, открытого в предыдущем году в арктической тундре на севере Коми. Как и во всех таких экспедициях, геологи прокладывали маршрут, заключенные гребли и тянули лодки на бечеве, а маленький контингент чекистов осуществлял общее руководство. Люди плыли и шли, окруженные тучами насекомых, которыми тундра

[299] ГАРФ, ф. 9414, оп. 1, д. 8.
[300] Митин. С. 22–26.

изобилует летом. Прибыв на место, первое время они жили в палатках, затем кое-как соорудили лагерь, перезимовали и весной примитивными средствами начали добывать уголь в “Руднике № 1”. Машин не было – в ход шли кирки, лопаты, деревянные тачки. Всего за шесть лет “Рудник № 1” превратился в город Воркуту – центр Воркутлага, одного из самых больших и жестоких лагерей ГУЛАГа. В 1938 году Воркутлаг насчитывал 15 000 заключенных и добыл 188 206 тонн угля[301].

Формально не все новые обитатели края были заключенными. С 1930 года туда начали отправлять и спецпереселенцев. Почти все они были раскулаченные крестьяне с женами и детьми, и считалось, что они должны будут заниматься сельским хозяйством. На “поселковое положение” переводили и некоторых заключенных; Ягода лично пообещал, что они получат “свободное время” для работы на огороде, разведения свиней, рыбной ловли и постройки собственных домов. Первое время будут жить “на пайке, потом – за свой счет”[302]. Звучало неплохо, но на практике все было гораздо хуже. В 1930 году приехало почти 5000 ссыльных семей (более 16 000 человек), и на месте они, разумеется, не обнаружили почти ничего. К ноябрю было построено 268 бараков, но нужно было еще по крайней мере 700. В каждой комнате ютились три-четыре семьи. Не хватало еды, одежды, зимней обуви. Не было ни бань, ни дорог, ни почты[303].

Некоторые из спецпереселенцев умерли, многие пытались бежать (к концу июля сбежавшими числилось 344 человека), но, несмотря на это, ссыльные стали постоянным дополнением к лагерной системе Коми. Позднейшие волны репрессий принесли сюда новые их контингенты (в частности, поляков и немцев). До сих пор местные жители называют некоторые поселки “Берлин”. Ссыльные не жили за колючей проволокой, но делали ту же работу, что и заключенные, нередко бок о бок с ними. В 1940 году один лесозаготовительный лагерь был превращен в поселок для спецпереселенцев – лишнее подтверждение тому, что эти группы были в определенном смысле взаимозаменяемы. Многие ссыльные, кроме того, работали в лагерной охране и лагерном хозяйстве[304].

Со временем географический рост проявился в названиях лагерей. В 1931 году Ухтинская экспедиция была переименована в Ухтинско-Печорский ИТЛ (Ухтпечлаг). За последующие двадцать лет Ухтпечлаг, в свою очередь, много раз переименовывали, реорганизовывали, делили на части, что отражает расширение его географии, увеличение его могущества и усложнение аппарата. К концу 1930-х годов Ухтпечлаг превратился в целую сеть лагерей общим числом более двух десятков, включавшую в себя Ухтижемлаг (нефтедобыча), Устьвымлаг (лесозаготовки), Воркутлаг (угледобыча) и Севжелдорлаг (железнодорожное строительство) [305].

За несколько лет лагеря Коми АССР стали, кроме того, плотнее населены, в них в соответствии с растущими требованиями появились новые учреждения и новые здания. Нужны были больницы – лагерное начальство распорядилось их построить и создало систему подготовки фармацевтов и младшего медперсонала из числа заключенных. Нужно было организовать питание – устроили собственные совхозы, соорудили склады, разработали систему распределения. Нужно было электричество – построили электростанции. Нужны были строительные материалы – возвели кирпичные заводы.

Нуждаясь в квалифицированных рабочих, обучали тех, какие были. Многие бывшие “кулаки” были неграмотны или полуграмотны, и это создавало огромные трудности при осуществлении проектов, относительно сложных технически. Поэтому начальство организовало

---

[301] Выставка в Воркутинском краеведческом музее; см. также документ НКВД // за январь 1941 г., озаглавленный "Воркутинстрой НКВД" и находящийся в собрании Сыктывкарского отделения общества "Мемориал"; *Система ИТЛ в СССР*. С. 192.

[302] Канева. С. 339.

[303] Игнатова Надежда. *Спецпереселенцы в Республике Коми в 1930–1940 гг. // Корни травы.* С. 23–25.

[304] Там же. С. 25 и 29.

[305] Морозов Н. А. *ГУЛАГ в Коми крае*. С. 13–14.

ликбез и школу повышенного типа, где преподавали математику, физику, технические дисциплины и политграмоту[306]. В 1940-е годы в Воркуте – городе, построенном на вечной мерзлоте, где каждый год приходилось ремонтировать дорожное покрытие и подземные коммуникации, уже действовали высшие учебные заведения, театр, кукольный театр, плавательный бассейн и детские сады.

Расширение Ухтпечлага не афишировалось, и осуществлялось оно не наобум. Несомненно, лагерные начальники на местах хотели, чтобы их вотчины, а с ними и их престиж, росли. Создание многих новых лагерных подразделений объясняется не столько центральным планированием, сколько насущной необходимостью. Вместе с тем налицо было стройное согласие между нуждами центра (иметь места, куда отправлять "врагов") и региональными нуждами (получать людей для работы). Например, в 1930 году, когда Москва предложила направить в здешние края спецпереселенцев, местное руководство было в восторге[307]. О судьбе Ухтпечлага шел разговор на самом высоком уровне. В ноябре 1932 года Политбюро в присутствии Сталина посвятило большую часть одного из заседаний состоянию и будущему развитию Ухтпечлага. Его перспективы и нужды обсуждались на удивление конкретно. Протоколы создают впечатление, что Политбюро принимало или по крайней мере утверждало все сколько-нибудь важные решения: какие шахты лагерь должен развивать, какие железные дороги строить, сколько тракторов, машин и судов ему требуется, сколько ссыльных семей он может принять. Политбюро выделило лагерю деньги – более 26 млн рублей[308].

Не может быть случайностью, что после этого решения число заключенных Ухтпечлага резко возросло. На 1 июля 1932 года их числилось там 4797 человек, на 1 апреля 1933-го – 17 852[309]. На самом высоком уровне советской иерархии кто-то был крайне заинтересован в росте Ухтпечлага. Принимая во внимание могущество и престиж Сталина, приходишь к выводу, что это был не кто иной, как он сам.

Как Аушвиц стал для массового сознания лагерем, символизирующим всю нацистскую систему концлагерей, так слово "Колыма" сделалось символом величайших тягот и мук ГУЛАГа. "Колыма, – писал один американский историк, – это и река, и нагорье, и территория, и метафора"[310]. Богатый минералами, и прежде всего золотом, огромный Колымский регион на северо-востоке Сибири – это, возможно, самая негостеприимная часть России. Там холодней, чем в Коми АССР: зимой температура регулярно падает до 45 °С и даже ниже, и туда гораздо труднее добираться[311]. Чтобы доставить заключенных в колымские лагеря, их сначала везли поездами через всю страну во Владивосток. Путешествие иногда занимало три месяца. Далее – морским путем на север, мимо берегов Японии, и через Охотское море в порт Магадан, который был воротами Колымы.

Первый начальник Колымы был одной из самых колоритных фигур в истории ГУЛАГа. Эдуард Берзин, участник революции, в 1918 году командовал дивизионом латышских стрелков, охранявшим Кремль. Позднее он участвовал в подавлении "мятежа эсеров" и в разоблачении "заговора послов" под руководством Брюса Локкарта[312]. В 1926 году Сталин поручил ему организовать Вишлаг, один из первых крупных лагерей страны. Он взялся за работу с огром-

---

[306] Канева. С. 337–338.

[307] Игнатова Надежда. *Спецпереселенцы в Республике Коми в 1930–1940 гг. // Корни травы*. С. 23–25.

[308] Канева. С. 342.

[309] Там же.

[310] Stephan. *The Russian Far East.* P. 225.

[311] Nordlander, *Capital of the Gulag*; говоря в этой и других главах об истории Колымы, я опираюсь на эту работу Дэвида Нордлендера – единственное на данный момент подробное, основанное на архивных данных исследование Колымы, опубликованное на Западе.

[312] Ibid.

ным энтузиазмом. Один историк Вишлага назвал время его “правления” вершиной “романтического периода” ГУЛАГа[313].

ОГПУ развивало Вишлаг одновременно со строительством Беломорканала, и Берзин, судя по всему, горячо одобрял (или делал вид, что одобряет) идеи Горького о “перековке” заключенных. С патерналистским пылом Берзин обеспечивал их кинотеатрами и дискуссионными клубами, библиотеками и столовыми “ресторанного типа”. Он разбивал сады с фонтанами, устроил даже маленький зоопарк. Он регулярно платил заключенным зарплату и применял ту же политику досрочного освобождения за ударную работу, что и начальство Беломорканала. Плоды этих благодеяний, однако, доставались не всем: заключенного, которого считали плохим работником или которому просто не повезло, могли послать на лесозаготовки в один из многих маленьких таежных лагпунктов Вишлага, где условия были тяжелыми, где смертность была выше, где заключенных втихую мучили и даже убивали[314].

Тем не менее Берзин прилагал усилия к тому, чтобы лагерь по крайней мере *выглядел* прилично. И это, на первый взгляд, делает его неподходящей кандидатурой на пост первого директора Государственного треста по дорожному и промышленному строительству в районе Верхней Колымы («Дальстроя») – псевдокорпорации, созданной для развития Колымского региона. Ибо в задачах, стоявших перед «Дальстроем», не было ничего романтического и идеалистического. Сталин проявил интерес к Колыме еще в 1926 году, когда послал в США инженера изучать горное дело[315]. Позднее между 20 августа 1931 года и 16 марта 1932 года Политбюро обсуждало геологические и географические особенности Колымы по меньшей мере одиннадцать раз, и в обсуждениях нередко участвовал сам Сталин. Как и комиссия Янсона при создании ГУЛАГа, Политбюро, по словам историка Дэвида Нордлендера, использовало в дискуссиях по этому вопросу “не идеалистическую риторику «социалистического строительства», а вполне прагматический язык: речь шла о приоритетных направлениях вложения средств и о будущей финансовой отдаче”. В последующей переписке с Берзиным Сталин вел разговор о производительности лагерного труда, о квотах, о выработке, а вопрос о перевоспитании заключенных не затронул ни разу[316].

С другой стороны, Берзин с его талантом к созданию приукрашенных фасадов, видимо, был именно тем человеком, какой нужен был советскому руководству. Ибо хотя позднее “Дальстрой” был передан в прямое ведение НКВД СССР, вначале власти неизменно делали вид, что трест – отдельная экономическая единица, не имеющая никакого отношения к ГУЛАГу. Без лишнего шума был образован Севвостлаг, подчиненный ОГПУ, предоставлявший своих заключенных в распоряжение “Дальстроя”. На практике эти два учреждения никогда не соперничали между собой. Начальник “Дальстроя” фактически был и начальником Севвостлага, и ни у кого не было на этот счет никаких сомнений. На бумаге, однако, “Дальстрой” и Севвостлаг существовали отдельно друг от друга[317].

---

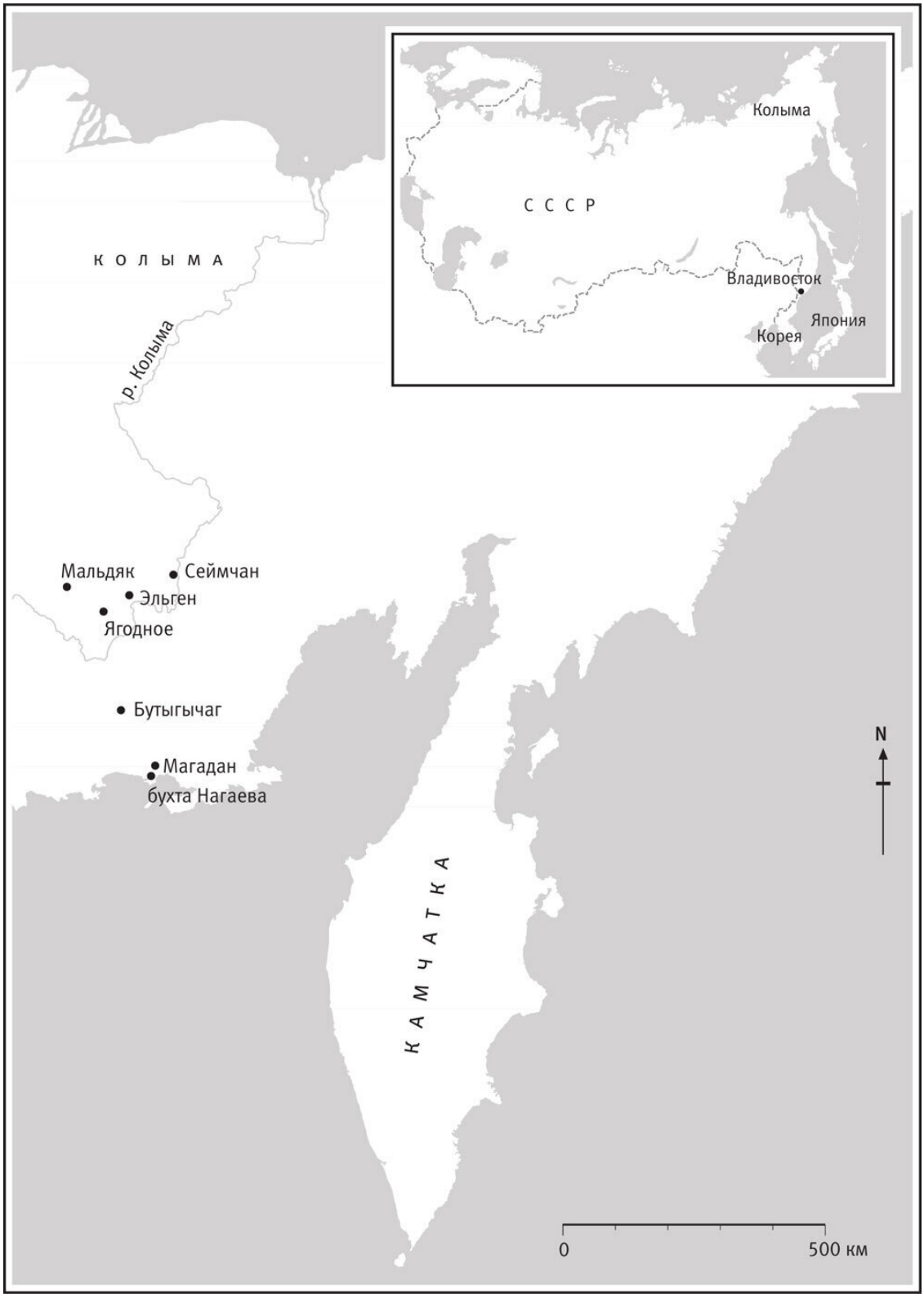
[313] Из разговора с Виктором Шмыровым (Пермское отделение общества "Мемориал") 31 марта 1998 года.

[314] Шмыров. *Лагерь как модель реальности*.

[315] Stephan. *The Russian Far East.* P. 225.

[316] Nordlander. *Capital of the Gulag*.

[317] Ibid.



Колыма. 1937 год

В таком положении вещей была своя логика. Во-первых, “Дальстрою” нужны были и свободные сотрудники, прежде всего инженеры, и женщины брачного возраста (и тех и других на Колыме всегда не хватало). Берзин развернул широкую агитацию, убеждая людей переезжать на Дальний Север; в Москве, Ленинграде, Одессе, Ростове и Новосибирске были открыты

отделения “Дальстроя”[318]. Уже по этой причине Сталин и Берзин не хотели слишком тесно связывать Колыму с ГУЛАГом: они боялись, что связь отпугнет потенциальных вольнонаемных работников. Кроме того, хотя прямых доказательств этому нет, они, вероятно, учитывали возможную реакцию за рубежом. Как и карельский лес, колымское золото предназначалось для вывоза на Запад в обмен на технику, в которой отчаянно нуждалась советская промышленность. Это, видимо, отчасти объясняет тот факт, что советское руководство хотело представить золотые прииски Колымы как можно более “нормальным” предприятием. Бойкот советского золота мог нанести гораздо больший ущерб, чем бойкот советского леса.

Так или иначе, Сталин с самого начала испытывал к Колыме чрезвычайно сильный личный интерес. В 1932 году он даже потребовал ежедневно докладывать ему о состоянии дел с добычей золота и, как уже было сказано, входил в подробности изыскательских проектов “Дальстроя” и интересовался использованием квот. Он посылал в лагеря инспекторов и часто вызывал начальников “Дальстроя” в Москву. Когда Политбюро выделяло “Дальстрою” или Ухтпечлагу деньги, оно точно указывало, на что эти деньги следует потратить[319].

И все же “независимость” “Дальстроя” не была стопроцентно мнимой. Хотя Берзин отчитывался перед Сталиным, он сумел оставить на Колыме свой след, так что “эпоху Берзина” позднее вспоминали с сожалением. Берзин, судя по всему, понимал свою задачу просто: сделать так, чтобы заключенные добывали как можно больше золота. Он не был заинтересован в том, чтобы морить их голодом, убивать, наказывать, – значение имела только выработка. Поэтому при первом директоре “Дальстроя” условия были далеко не такими тяжелыми, как после него, и заключенные гораздо меньше голодали. И то, что за первые два года работы “Дальстроя” добыча золота на Колыме выросла в восемь раз, отчасти объясняется этим[320].

Несомненно, первые годы Колымы были отмечены тем же хаосом и дезорганизацией, что царили повсеместно. В 1932 году в регионе уже работало почти 10 000 заключенных (в том числе инженеры и специалисты, чья квалификация как нельзя лучше соответствовала задачам) и более 3000 вольнонаемных[321]. Цифры смертности были чрезвычайно высоки. Из 16 000 заключенных, направленных на Колыму в первый год деятельности Берзина, живыми прибыли в Магадан только 9928[322]. Остальные, плохо одетые и беззащитные, пали жертвой северной зимы. Перенесшие этот первый год позднее утверждали, что в живых осталась только половина из общего числа[323].

Однако первоначальный хаос был преодолен, и положение понемногу улучшалось. К этому Берзин приложил немалые старания, справедливо считая, что если от заключенного золотодобытчика требуются высокие показатели, то его надо хорошо одевать и кормить. Томас Сговио, американец, прошедший Колыму, писал, что лагерные “старожилы” вспоминали времена Берзина с теплотой: “Когда температура опускалась ниже минус 50 °С, на работу не посылали. Было три выходных дня в месяц. Кормили сытно и питательно. Зэкам выдавали теплую одежду – меховые шапки, валенки…”[324] Писатель Варлам Шаламов, тоже бывший колымчанин, чьи “Колымские рассказы” принадлежат к числу самых горьких произведений лагерного жанра, писал о периоде правления Берзина:

> Отличное питание, одежда, рабочий день зимой 4–6 часов, летом – 10 часов, колоссальные заработки для заключенных, позволяющие им

[318] Stephan. *The Russian Far East.* P. 226.
[319] Nordlander. *Capital of the Gulag*.
[320] Stephan. *The Russian Far East.* P. 227.
[321] Козлов. *Севвостлаг НКВД СССР*.
[322] Stephan. *The Russian Far East.* P. 226.
[323] Conquest. *Kolyma.* P. 42.
[324] Sgovio. P. 153.

> помогать семьям и возвращаться после срока на материк обеспеченными людьми. <…> Тогдашние кладбища заключенных настолько малочисленны, что можно было думать, что колымчане – бессмертны[325].

Отношение лагерного начальства к заключенным было в целом тогда более гуманным, чем стало потом. В то время граница между заключенными и вольнонаемными была до некоторой степени размыта. Две группы вступали между собой в нормальные взаимоотношения; часть заключенных находилась на положении расконвоированных, а некоторые из них работали геологами, инженерами и даже входили в состав военизированной охраны[326].

Заключенным в какой-то мере позволяли участвовать в политической жизни эпохи. Как и Беломорканал, Колыма создавала своих ударников. Один заключенный "Дальстроя" даже стал "инструктором стахановских методов труда". Хорошо работавшие заключенные получали значки с надписью "Ударник Колымы"[327].

Подобно Ухтпечлагу, Колыма быстро усложняла свою инфраструктуру. В 1930-е годы заключенные не только добывали там золото, но и строили портовые сооружения в Магадане, а также Колымскую трассу – важнейшую автодорогу региона, которая ведет из Магадана на север. Большая часть лагпунктов Севвостлага располагалась вдоль этой дороги, и часто они получали названия по расстоянию от Магадана (например, "47-й километр"). Город Магадан как таковой был построен заключенными.

В 1936 году он насчитывал 15 000 жителей и продолжал расти. Вернувшись в город в 1947 году после семи лет в дальних таежных лагерях, Евгения Гинзбург замерла "от удивления и восторга" – так быстро вырос Магадан. "Только через несколько дней я заметила, что дома эти можно пересчитать по пальцам. Но сейчас это для меня и впрямь столица"[328].

Гинзбург, как и некоторые другие лагерники, приметила диковинный парадокс. Странно, но факт: на дикую Колыму, как и в Республику Коми, ГУЛАГ постепенно приносил "цивилизацию", если, конечно, это слово здесь уместно. Через леса прокладывались дороги, там, где были болота, вырастали дома. Оттесняя коренных жителей, власть строила города, заводы, железные дороги. Много лет спустя дочь лагерного повара в отдаленном подразделении лесозаготовительного Локчимлага (Коми АССР) вспоминала жизнь в то время, когда лагерь еще действовал: "Там у них был целый склад овощей, тыквы росли на грядках – не так все голо, как сегодня. (Она с отвращением махнула рукой в сторону крохотного поселка, стоящего ныне на месте лагеря у бывшего штрафного барака, где и теперь живут люди.) Там было настоящее электрическое освещение, и начальство чуть не каждый день разъезжало в больших машинах…"

Гинзбург сказала примерно о том же более красноречиво:

> Загадочно человеческое сердце! Ведь я всей душой проклинаю того, кто выдумал строить город в этой вечной мерзлоте, прогревая ее кровью, пóтом и слезами ни в чем не повинных людей. И в то же время я явно ощущаю какую-то идиотическую гордость… Как он вырос и похорошел за семь лет моего отсутствия, наш Магадан! Просто неузнаваем. Я любуюсь каждым фонарем, каждым куском асфальта и даже афишей, извещающей, что в Доме культуры состоится спектакль – оперетта "Принцесса долларов". Наверно, потому, что нам дорог каждый кусок нашей жизни, даже самый горький[329].

---

[325] Шаламов. *Колымские рассказы*. Кн. 1. С. 532.

[326] Козлов. *Севвостлаг НКВД СССР*. С. 81; Nordlander. *Capital of the Gulag.*

[327] Козлов. *Севвостлаг НКВД СССР*. С. 82.

[328] Гинзбург Е. Т. 2. С. 129.

[329] Там же.

К 1934 году расширение ГУЛАГа на Колыме, в Республике Коми, в Сибири, в Казахстане и в других местах СССР приняло тот же характер, что и на Соловках. Вначале – небрежение, произвол и беспорядок, становившиеся причиной многих смертей. Даже если не было откровенного садизма, заключенные страдали от бездумной жестокости конвоиров, обращавшихся с ними как со скотиной. Однако со временем система кое-как налаживалась. Смертность в местах заключения, достигнув высшей точки в 1933 году, стала уменьшаться: свирепствовавший в стране голод отступил, и лагеря были теперь лучше организованы. В 1934 году, согласно официальной статистике, смертность составляла примерно 4 процента[330]. Ухтпечлаг качал нефть, Колыма добывала золото, лагеря Архангельской области поставляли древесину. В Сибири строились дороги. Ошибок и бед случалось великое множество, но такая же картина наблюдалась по всей стране. Быстрота индустриализации, изъяны планирования и нехватка квалифицированных кадров делали несчастные случаи и излишние затраты неизбежными, и руководители крупных проектов наверняка это понимали.

ОГПУ, несмотря на все неудачи, быстро превращалось в одну из главных экономических сил страны. В 1934 году Дмитлаг, прокладывавший канал Москва – Волга, использовал почти 200 000 заключенных – больше, чем Беломорканал[331]. Вырос и Сиблаг (в 1934 году – 63 000 заключенных); Дальлаг в том же году насчитывал 50 000 человек, более чем утроившись в размере за четыре года с момента своего образования. По всему Советскому Союзу возникали все новые лагеря: Сазлаг в Узбекистане, где осужденные работали в совхозах; Свирьлаг под Ленинградом, занимавшийся заготовкой дров для города и обработкой древесины; Карлаг в Казахстане, чьи заключенные трудились в сельском хозяйстве, на заводах и фабриках и даже ловили рыбу[332].

В 1934 году, кроме того, был образован НКВД СССР, взявший на себя в числе прочих функции ОГПУ. Реорганизация отражала новый статус тайной полиции и ее выросшую сферу ответственности. В ведении НКВД теперь находилось более миллиона заключенных[333]. Но относительное спокойствие продолжалось недолго. Внезапно система претерпела катаклизм, губительный как для рабов, так и для хозяев.

---

[330] *ГУЛАГ: Главное управление лагерей*. С. 441.

[331] Хлевнюк. *Принудительный труд…* С. 78.

[332] Там же; *Система ИТЛ в СССР*. С. 376, 399 и 285.

[333] *Система ИТЛ в СССР*. С. 38.

Глава 6
Большой террор и после него

Это было, когда улыбался
Только мертвый, спокойствию рад,
И ненужным привеском болтался
Возле тюрем своих Ленинград.
И когда, обезумев от муки,
Шли уже осужденных полки,
И короткую песню разлуки
Паровозные пели гудки,
Звезды смерти стояли над нами,
И безвинная корчилась Русь
Под кровавыми сапогами
И под шинами черных марусь.

Анна Ахматова.
Реквием. 1935– 1940

Объективно говоря, 1937 и 1938 годы, которые вспоминают как годы “Большого террора”, не были самыми ужасными в истории лагерей. Не были они и годами наибольшей численности заключенных: в следующем десятилетии она намного возросла и достигла максимума гораздо позже, чем обычно думают, – в 1952 году. Хотя доступная нам статистика страдает неполнотой, ясно, что смертность в лагерях была выше как во время голода (1932–1933 годы), так и в разгар Второй мировой войны – в 1942–1943 годах, когда общее число людей, содержавшихся в ИТЛ, тюрьмах и лагерях военнопленных, составляло примерно четыре миллиона[334].

Есть, кроме того, основания думать, что историки слишком сильно сосредоточили внимание на 1937–1938 годах. Еще Солженицын во многом справедливо сетовал на то, что “упираются все снова и снова в настрявшие 37-38-й годы”[335]. Ведь за Большим террором последовали еще два десятилетия репрессий. С 1918-го шли регулярные массовые аресты и высылки. В начале 1920-х их жертвами были политические оппозиционеры, в конце 1920-х – “вредители”, в начале 1930-х – “кулаки”. Все эти волны массовых арестов сопровождались регулярными кампаниями против “антисоциальных элементов”.

После Большого террора – новые аресты и депортации. Брали поляков, украинцев, прибалтийцев с территорий, оккупированных в 1939–1940 годах; военнослужащих, побывавших в немецком плену и зачисленных в предатели; обыкновенных людей, оказавшихся по ту сторону фронта после нацистского вторжения в 1941-м. В 1948 году многих освобожденных из лагерей забирали повторно; перед самой смертью Сталина прошли массовые аресты евреев. Конечно, многие жертвы 1937–1938 годов были людьми известными, и “показательные процессы” тех лет были неповторимыми в своем роде зрелищами, однако это позволяет назвать Большой террор не столько вершиной репрессий, сколько их специфической волной, затронувшей как элиту – старых большевиков, ведущих военных и партийных деятелей, так и широкий круг рядовых граждан и сопровождавшейся необычно большим количеством казней.

---

[334] Bacon. P. 30, 122. Автор суммирует цифры, полученные из разных источников и касающиеся разных категорий лиц, занятых принудительным трудом. Дальнейшее обсуждение статистических данных см. в Приложении.

[335] Солженицын. *Архипелаг ГУЛАГ*. Часть первая. Гл. 2 / *Мал. собр. соч*. Т. 5. С. 27.

Однако в истории ГУЛАГа 1937 год стал подлинным водоразделом. В том году советские лагеря на время превратились из индифферентных мест заключения, где люди гибли из-за случайностей или халатности, в подлинные лагеря смерти, где людей намеренно убивали пулей или непосильной работой в гораздо большем количестве, чем раньше. Хотя эта перемена была далеко не всеобъемлющей и хотя в 1939-м преднамеренно убивать заключенных стали меньше (смертность в лагерях вплоть до 1953 года, когда умер Сталин, менялась волнообразно – влияли война и идеология), Большой террор оставил в умонастроениях лагерников и их тюремщиков неизгладимый след[336].

Как и всей стране, обитателям ГУЛАГа были видны предвестья будущего террора. После убийства Кирова в декабре 1934 года, в котором до сих пор остается много загадочного, Сталин рядом распоряжений предоставил НКВД гораздо большие права в отношении ареста, пыток и ликвидации "врагов народа". Прошли считаные недели, и жертвами этих распоряжений стали Каменев и Зиновьев – крупные партийные деятели, в прошлом оппоненты Сталина. Наряду с ними арестовали тысячи их сторонников и мнимых сторонников (особенно много в Ленинграде). Последовали массовые исключения из партии, хотя они, надо сказать, не были намного более многочисленными, чем исключения начала 1930-х годов.

Постепенно чистка становилась все более кровавой. Весной и летом 1936 года сталинские следователи "работали" с Каменевым, Зиновьевым и группой бывших сторонников Троцкого, готовя их к "признанию своей вины" на большом публичном показательном процессе (он состоялся в августе). Всех их, как и многих их родственников, затем расстреляли. Позднее прошли новые суды над ведущими большевиками, в том числе над популярным Николаем Бухариным. Их семьи тоже пострадали.

Мания арестов и казней распространялась вниз по партийной иерархии и по всему обществу. Ее сознательно усиливал Сталин, который использовал ее, чтобы избавляться от противников, создавать новую прослойку преданных ему руководителей, держать в страхе население и наполнять свои концлагеря. С 1937 года по региональным органам НКВД рассылались предписания о том, сколько человек должно быть репрессировано. "Первую категорию" составляли те, кого приговаривали к расстрелу, прочих же относили ко "второй категории" и отправляли в лагеря на 8–10 лет. Самые "злостные и социально опасные" подлежали заключению в тюрьмы (видимо, чтобы не воздействовали на лагерников). Некоторые специалисты пытаются установить связь между размером "квоты" для той или иной части страны и представлениями НКВД о регионах с наибольшей концентрацией "врагов". Но, может быть, такой связи и не было[337].

Эти распоряжения сильно смахивают на директивы какого-нибудь пятилетнего плана. Вот, например, данные о количестве подлежащих репрессированию от 30 июля 1937 года.

---

[336] Там, где нет ссылок на другие источники, этот рассказ о Большом терроре основан на следующих работах: Conquest. *The Great Terror;* Хлевнюк. *1937*; Getty and Naumov; Martin. *The Great Terror*.

[337] Getty and Naumov. P. 472.

Регионы	Первая категория	Вторая категория	Всего
Азербайджанская ССР	1500	3750	5250
Армянская ССР	500	1000	1500
Белорусская ССР	2000	10 000	12 000
Грузинская ССР	2000	3000	5000
Киргизская ССР	250	500	750
Таджикская ССР	500	1300	IS00
Туркменская ССР	500	1500	2000
Узбекская ССР	750	4000	4750
Башкирская ССР	500	1500	2000
Бурятско-Монгольская АССР	350	1500	1850
Дагестанская АССР	500	2500	3000
Карельская АССР	300	700	1000
Кабардино-Балкарская АССР	300	700	1000
Крымская АССР	300	1200	1500
Коми АССР	100	300	400
Калмыцкая АССР	100	300	400
Марийская АССР	300	1500	1800
И т. д.[5]			

Совершенно ясно, что чистка никоим образом не была спонтанной: новые лагеря для новых заключенных готовились заранее. Особого сопротивления она не встретила. Московское руководство НКВД рассчитывало на энтузиазм на местах и не ошибалось. “Для действительной очистки Армении просим разрешить дополнительно расстрелять 700 человек из дашнаков и прочих антисоветских элементов”, – обратился в Москву в сентябре 1937 года армянский НКВД. Сталин лично одобрил соответствующее решение. Он и Молотов подписали много подобных распоряжений. Например: “Дать дополнительно Красноярскому краю 6600 чел. лимита по 1-й категории. Иосиф Сталин”. На заседании Политбюро в феврале 1938 года НКВД Украины получил разрешение арестовать дополнительно 30 000 “кулацкого и прочего антисоветского элемента”[338].

Часть советских граждан одобрила новые аресты. Внезапное обнаружение огромного числа “врагов”, многие из которых проникли в высшие партийные органы, разумеется, объясняло, почему, несмотря на сталинский “великий перелом”, несмотря на коллективизацию и пятилетний план, страна так и не преодолела бедность и отсталость. Большинство людей, однако, признающиеся в измене знаменитые революционеры и ночные исчезновения соседей привели в такой ужас и смятение, что они не дерзали высказываться о происходящем.

В ГУЛАГе чистка прежде всего сказалась на составе начальников. Многие из них были ликвидированы. Если в памяти страны 1937-й остался годом, когда революция пожирала своих детей, то в лагерях он запомнился как год, когда ГУЛАГ уничтожил своих основателей начиная с самого верха: народный комиссар внутренних дел Генрих Ягода, на котором во многом лежит ответственность за расширение лагерной системы, был осужден и расстрелян в 1938-м. В прошении о помиловании в адрес Президиума Верховного Совета СССР он просил оставить

[338] *Лубянка*. С. 15.

его в живых. “Тяжело умирать, – писал тот, кто отправил на смерть множество людей. – Перед всем народом и партией стою на коленях и прошу помиловать меня, сохранив мне жизнь”[339].

Заняв место Ягоды, малорослый Николай Ежов немедленно начал избавляться от людей Ягоды в НКВД. Он репрессировал и семью Ягоды – его жену, родителей, сестер, племянников и племянниц, как позднее репрессировал семьи других “врагов народа”. Одна из племянниц вспоминала поведение своей бабушки (матери Ягоды) в тот день, когда ее и всю семью отправляли в ссылку:

– Видел бы Генрих, что делают с нами, – тихо сказал кто-то.

И вдруг бабушка, которая никогда не повышала голоса, обернувшись к пустой квартире, громко крикнула:

– Будь он проклят! – Она переступила порог, и дверь захлопнулась, и звук этот гулко отозвался в лестничном проеме, как эхо материнского проклятия[340].

Многие из лагерных начальников и администраторов, которых продвигал и отличал Ягода, разделили его судьбу. Наряду с сотнями тысяч других советских граждан они были обвинены в участии в антисоветских заговорах, арестованы и осуждены. Их “дела” порой были очень обширны и затрагивали сотни людей. Одно из самых заметных было организовано вокруг Матвея Бермана, руководившего ГУЛАГом с 1932 по 1937 год. Долгие годы верной службы партии (он вступил в нее в 1917-м) не помогли ему. В декабре 1938 года Бермана обвинили в том, что он возглавлял правотроцкистскую террористическую и вредительскую организацию, создавал льготные условия в лагерях, срывал “боевую и политическую подготовку” лагерной охраны (чем способствовал побегам) и вредительски задерживал строительство заключенными железных дорог.

Берман пострадал не один. По всей стране крупных гулаговских начальников причисляли к той же “правотроцкистской организации” и скопом приговаривали. Чтение их дел производит какое-то сюрреалистическое впечатление: словно все неудачи прошедших лет – невыполненные задания, кое-как построенные дороги, плохо работающие заводы, возведенные руками заключенных, – достигли здесь некой безумной кульминации.

Например, Александр Израилев, заместитель начальника Ухтпечлага, был осужден за то, что он “тормозил развитие угледобычи”. Полковника Александра Полисонова, работавшего в отделе охраны ГУЛАГа, обвинили в создании невозможных условий для исполнения работниками охраны своих обязанностей. Михаил Госкин, возглавлявший в ГУЛАГе отдел железнодорожного строительства, якобы “занимался вредительством путем составления нереальных планов и срыва постройки дороги Волочаевка – Комсомолец”. На Исаака Гинзбурга, возглавлявшего санитарный отдел ГУЛАГа, возложили вину за высокую смертность среди заключенных; кроме того, он якобы создавал “благоприятные условия к освобождению по болезни осужденных за контрреволюционные преступления”. Большей частью эти люди были приговорены к расстрелу, некоторых отправили в тюрьмы или лагеря, горстка дожила до реабилитации 1955 года[341].

Их судьбу разделило поразительное количество гулаговских руководителей раннего периода. Федор Эйхманс, в прошлом возглавлявший СЛОН, а позднее назначенный заместителем спецотдела ОГПУ, был расстрелян в 1938 году. Второго начальника ГУЛАГа Лазаря Когана казнили в 1939-м. Преемник Бермана на посту руководителя ГУЛАГа Израиль Плинер

---

[339] Знаменская Вероника. *Доднесь тяготеет // Доднесь тяготеет.* Вып. 1. С. 180.

[340] *Реабилитационное определение по делу работников ГУЛАГа.* Публикация Д. Г. Юрасова // *Звенья*. Вып. 1. М., 1991. С. 389–399.

[341] ГАРФ, сведения о личном составе органов НКВД. См. также: *ГУЛАГ: Главное управление лагерей*. С. 797–857.

проработал в должности всего год и был расстрелян в 1939-м[342]. Система словно бы выискивала тех, на кого можно было свалить вину за ее плохую работу. Хотя, может быть, “система” – не то слово. Может быть, именно Сталин искал виноватых в том, что его замечательные проекты с использованием рабского труда реализуются так медленно и с такими результатами.

Но были и некоторые любопытные исключения из общего жестокого правила. Ибо Сталин контролировал не только то, кто *будет* арестован, но порой и то, кто *не* будет арестован. Пули избежал, что интересно, Нафталий Френкель, хотя очень многие из тех, с кем он в разное время работал, погибли. В 1937 году он возглавлял Бамлаг – один из самых губительных и подверженных хаосу лагерей Дальнего Востока. Но хотя в 1938-м в Бамлаге было арестовано сорок восемь “троцкистов”, он ухитрился не попасть в их число.

Его отсутствие в списке арестованных тем более странно, что местная газета открыто обвинила его во вредительстве. Тем не менее его таинственно поддержала Москва. Прокурору Бамлага, расследовавшему поведение Френкеля, отсрочка показалась непостижимой. “Мне никак непонятно, почему следствие откладывается Центральным управлением НКВД «до особого указания» и от кого исходят эти указания, – писал он генеральному прокурору СССР Андрею Вышинскому. – Если троцкистов-шпионов-диверсантов не арестовывать, то кого же тогда арестовывать и судить”. Сталин, как видно, умел защищать своих людей[343].

Возможно, самая драматическая расправа с лагерным начальством произошла в конце 1937 году в Магадане и началась с ареста директора “Дальстроя” Эдуарда Берзина. Как прямой подчиненный Ягоды Берзин должен был подозревать, что его карьера скоро оборвется. Ему следовало почуять неладное, когда в декабре к нему явилась целая группа сотрудников НКВД, в том числе старший майор госбезопасности Павлов, чекист более высокого ранга, чем сам Берзин. Хотя Сталин часто сводил таким образом руководителей, которым предстояла опала, с их преемниками, Берзин, по крайней мере внешне, ничего не заподозрил. Когда пароход со зловещим названием “Николай Ежов”, на котором прибыли “гости”, вошел в бухту Нагаева, Берзин встречал их с духовым оркестром. Потом он несколько дней вводил их в курс дела – они же фактически игнорировали его. Вслед за этим он сам взошел на борт “Николая Ежова”.

Из Владивостока Берзин вполне обычным образом – на Транссибирском экспрессе – отправился в Москву. Но, сев на поезд пассажиром первого класса, он прибыл к месту назначения заключенным. Незадолго до Москвы, в Александрове, поезд остановился. Среди ночи 19 декабря 1937 года, не дав Берзину доехать до Москвы, чтобы не привлекать внимания, его арестовали на перроне и отвезли на Лубянку. Очень быстро ему было предъявлено обвинение в создании “Колымской антисоветской, шпионской, повстанческо-террористической, вредительской организации”, переправлявшей золото японскому правительству и готовившей переход советского Дальнего Востока “под протекторат Японии”. Его обвинили, кроме того, в шпионаже в пользу Англии и Германии. Директор “Дальстроя”, если верить чекистам, был невероятно занятым человеком. Его расстреляли в августе 1938-го в подвале Лубянской тюрьмы.

Нелепость обвинений не уменьшает трагизма событий. К концу декабря расторопный Павлов арестовал большинство подчиненных Берзина. Начальник Севвостлага И. Г. Филиппов в развернутых показаниях, данных под пыткой, упомянул практически их всех. Признавшись, что “завербовал” Берзина в 1934-м, он показал, что созданная ими “антисоветская организация” готовила свержение советского правительства посредством “подготовки вооруженного восстания на Колыме <…> и проведения террористических актов против руководителей Ком-

[342] ГАРФ, ф. 8131, оп. 37, д. 99.

[343] Этот рассказ об аресте Берзина основан на работах: Nordlander, *Capital of the Gulag* и Nordlander, *Magadan and the Evolution of the Dalstroi Bosses*. См. также: Козлов, *Севвостлаг НКВД СССР*.

мунистической партии и советского правительства". Чуть позже помощник Берзина Лев Эпштейн признался в "сборе секретной информации для Франции и Японии". Главного врача магаданской больницы обвинили в "связях с иностранными элементами и двурушниками". В итоге сотни людей, так или иначе связанных с Берзиным, – геологов, чекистов, администраторов, инженеров – были либо расстреляны, либо отправлены в лагеря[344].

Ради верной общей картины следует сказать, что колымская элита не была единственной влиятельной группой, ликвидированной в 1937–1938 годах. К концу этого периода Сталин уничтожил очень многих видных военачальников, в том числе первого заместителя наркома обороны маршала Тухачевского, Иону Якира, Иеронима Уборевича. Пострадали и их жены и дети – большинство из них расстреляли, некоторым дали лагерный срок[345]. Такой же чистке подверглось и партийное руководство. Она затронула не только потенциальных противников Сталина в верхушке компартии, но и провинциальную партийную элиту, наряду с главами местных и региональных советов, директорами крупных заводов и институтов.

Волна арестов в некоторых местах и внутри определенного общественного слоя была такой мощной, что, как писала позднее Елена Сидоркина (ее саму арестовали в ноябре 1937 года), "никто не был уверен в завтрашнем дне. Боялись друг с другом говорить и встречаться, особенно с теми семьями, где отец или мать были «изолированы». А уж выступать с защитой арестованного вообще редко кто отваживался. Если же и находился такой смельчак, тут же сам становился кандидатом на «изоляцию»"[346].

Но расстреляли не всех и не каждый лагерь был вычищен полностью. Как показывает судьба протеже Ягоды В. А. Барабанова, у не столь заметного сотрудника гулаговской администрации шансы уцелеть были даже чуть повыше среднего. В 1935 году, будучи заместителем начальника Дмитлага, Барабанов был арестован вместе с другим чекистом за появление в лагере "в пьяном виде". Его сняли с должности, он отбыл маленький срок, и в 1938-м, когда шли массовые аресты приспешников Ягоды, в суматохе о нем просто забыли. В 1954 году, простив ему слабость к алкоголю, его снова повысили и назначили первым заместителем начальника ГУЛАГа[347].

Но в памяти лагерников 1937-й остался не только как год Большого террора, но и как год, когда прекратилась пропаганда "перевоспитания" преступников и сошла на нет вся соответствующая идеалистическая риторика. Отчасти это, возможно, объясняется уходом со сцены тех, кто теснее всех был связан с кампанией. Ягода, чье имя по-прежнему ассоциировалось в массовом сознании с Беломорканалом, был репрессирован. Максим Горький скоропостижно умер в июне 1936-го. Л. Авербах, соавтор Горького по "Беломорско-Балтийскому каналу", был объявлен троцкистом и арестован в апреле 1937-го. Его судьбу разделила его сестра И. Авербах, написавшая книгу "От преступления к труду" (1936), и многие писатели, участвовавшие в поездке на Беломорканал[348].

Перемена имела и более глубокие причины. По мере того как политическая риторика становилась все более радикальной, а охота на политических преступников все более оголтелой, менялся и статус лагерей, где содержались эти "опасные" политзаключенные. В стране, охваченной паранойей и шпиономанией, само существование лагерей для "врагов народа" и "вредителей" стало если не полнейшей тайной (в 1940-е годы заключенные, строящие дороги и жилые дома, были обычным зрелищем во многих крупных городах), то по крайней

[344] Conquest. *The Great Terror*. P. 182–213.

[345] Сидоркина Елена. *Годы под конвоем* / *Доднесь тяготеет*. Вып. 1. С. 288.

[346] ГАРФ, ф. 9401, оп. 12, д. 94.

[347] Conquest. *The Great Terror*. P. 298.

[348] Геллер. С. 151–157.

мере темой не для публичного обсуждения. Пьеса Николая Погодина “Аристократы” была в 1937 году запрещена. Спектакль по ней вновь появился в афишах – хотя и ненадолго – только в 1956 году[349]. “Беломорско-Балтийский канал” Горького тоже был поставлен на полку запрещенных книг. Какая причина была главной – неясно. Возможно, новое начальство НКВД не могло терпеть трескучую хвалу в адрес поверженного Ягоды. Или, возможно, яркие картины успешного перевоспитания “враждебных элементов” плохо вписывались в действительность, где каждый день появлялись все новые “враги”, которых сотнями тысяч убивали, а не перевоспитывали. Несомненно, истории об умелых и всезнающих чекистах никак не вязались с масштабными чистками в НКВД.

Демонстрируя рвение в деле изоляции врагов режима и не считаясь с расходами, московские начальники ГУЛАГа издали новые инструкции о секретности. Всю корреспонденцию надо было теперь пересылать со спецкурьерами. Только в 1940 году курьеры НКВД переправили 25 миллионов единиц секретной корреспонденции. Те, кто посылал заключенным письма, писали вместо адреса номер почтового ящика, потому что местоположение лагерей стало секретным и даже во внутренней переписке НКВД они эвфемистически именовались теперь “спецобъектами” или “подразделениями”[350].

Для более специфической информации как о лагерях, так и о заключенных, передаваемой “открытым текстом телеграмм”, был разработан особый код. Сохранился документ 1940 года со списком кодированных обозначений. Некоторые из них свидетельствуют о некой творческой изощренности. Слова “беременные женщины” надо было заменять на “книги”, “женщины с детьми” – на “квитанции”. “Мужчин” следовало превращать в “счета”. Ссыльные шли как “макулатура”, подследственные – как “конверты”. Лагерь превращали в “трест”, лагпункт – в “фабрику”. Один из лагерей получил кодовое название “Свободный”[351].

Изменился и внутрилагерный язык. До осени 1937 года в официальных документах и письмах арестантов часто называли по характеру их работы – например, “лесорубами”. К 1940-му никаких лесорубов уже не осталось – были только *заключенные,* или *з/к*[352]. Группа з/к (зэков) обезличенно называлась “контингент”. Заключенный не мог теперь получить вожделенное звание ударника или стахановца: один лагерный администратор в духе времени потребовал от подчиненных официально называть хороших работников всего-навсего “з/к работающими по-ударному” или “з/к, работающими методами стахановского труда”.

Термин “политический заключенный”, разумеется, давным-давно уже не использовался в сколько-нибудь положительном смысле. Привилегии лагерников-социалистов исчезли с их переводом из Соловков в 1925 году. Слово “политзаключенный” претерпело полную трансформацию. Оно стало обозначать любого приговоренного по печально знаменитой 58-й статье Уголовного кодекса, определявшей наказания за “контрреволюционные” преступления, и употреблялось исключительно в отрицательном смысле. “Политических” называли еще КР (контрреволюционерами), контрами, каэрами, контриками и все чаще – врагами народа[353].

Эту якобинскую кличку, впервые использованную Лениным в 1917 году, возродил в 1927-м Сталин, применив ее к Троцкому и его сторонникам. Более широкое значение она получила в 1936-м, когда ЦК партии направил республиканским и областным парторганизациям закрытое письмо, к которому, по мнению биографа Сталина Дмитрия Волкогонова, вождь непосредственно “приложил руку”. В письме подчеркивалось, что враг народа обычно выглядит “ручным и безобидным”, но при этом делает все, чтобы “потихоньку вползти

[349] Иванова. *ГУЛАГ в системе тоталитарного государства*. С. 96.

[350] *ГУЛАГ: Главное управление лагерей*. С. 863–869.

[351] Иванова. *ГУЛАГ в системе тоталитарного государства*. С. 95–96.

[352] Росси. *Справочник по ГУЛАГу*. С. 293–295.

[353] Там же. С. 63–64; Волкогонов. *Триумф и трагедия*. Кн. 1. С. 478.

в социализм", не принимая его. Иными словами, враг народа может и не высказывать свои взгляды открыто. Лаврентий Берия, возглавивший НКВД позднее, на совещаниях часто высказывал мысль, авторство которой он приписывал Сталину: "Враг народа не только тот, кто вредит, но и тот, кто сомневается в правильности линии партии". Следовательно, враг народа – это любой, кто критически относится к власти Сталина по какой бы то ни было причине, пусть даже он молчит об этом[354].

Понятие "враг народа" стало официально использоваться в гулаговских документах. Приказ НКВД от 1937 года позволил арестовывать женщин как "жен врагов народа"; так же поступали и с детьми. Возникла официальная аббревиатура ЧСИР – член семьи изменника родины[355]. Многих таких "жен" отправили в Темниковский лагерь (Темлаг) в Мордовии. Анна Ларина, вдова видного советского деятеля Николая Бухарина, вспоминала, что беда уравняла всех – Тухачевских и Якиров, Бухариных и Радеков, Уборевичей и Гамарников[356].

Галина Левинсон, тоже прошедшая через Темлаг, писала, что лагерный режим был сравнительно либеральным: "может быть, потому, что мы были первые и еще не выработалась привычка относиться к «женам врагов народа» как к остальным заключенным". Большинство женщин в лагере, отмечает она, были "абсолютно советскими людьми" и считали свой арест результатом какого-то фашистского заговора внутри партии. Некоторые постоянно писали письма Сталину и в ЦК, стремясь довести до их сведения, "что творят органы"[357].

В 1937 году и позднее словосочетание "враг народа" было не только официальным термином, но и ругательством. Со времен Соловков основатели и разработчики лагерной системы взяли на вооружение идею о том, что заключенные – не столько люди, сколько "трудовые единицы". Еще в период сооружения Беломорканала Максим Горький назвал кулаков "полулюдьми"[358]. Теперь, однако, пропаганда низводила "врагов" к чему-то даже более презренному, чем двуногая скотина. С конца 1930-х годов Сталин стал публично называть "врагов народа" "паразитами", а иногда просто сорняками, которые следует вырвать с корнем[359].

Смысл был понятен: з/к – это не люди в полном смысле слова и уж точно не полноценные советские граждане. Один бывший лагерник отметил, что "заключенные в России совершенно изъяты из всякой политической жизни, они не принимают участия в ее обеднях и обрядах"[360].

С 1937 года конвоиры никогда не называли заключенных "товарищами", а заключенного могли избить, если он использовал это слово, обращаясь к конвоиру (надо было говорить: гражданин). В лагере или тюрьме на стене никогда нельзя было увидеть портрет Сталина. Довольно обычное для середины 1930-х годов зрелище – поезд с заключенными, вагоны которого украшены портретами Сталина, знаменами и стахановскими лозунгами, – после 1937 года было немыслимо, как и празднование заключенными Первого мая, подобное тем, что в свое время проходили на Соловках[361].

Многих иностранцев удивляло сильнейшее действие, которое оказывало на советских заключенных это "изъятие" из советского общества. Француз Жак Росси, прошедший через ГУЛАГ и написавший затем "Справочник по ГУЛАГу" – энциклопедию лагерной жизни, писал, что слово "товарищ" могло воспламенить сердца заключенных, давно его не слышавших: "В конце 40-х годов автор был свидетелем, как бригада, отработавшая 11-12-часовую

---

[354] Росси. *Справочник по ГУЛАГу*. С. 42, 450; Сборник… С. 86–93.

[355] Larina. P. 182.

[356] Левинсон. С. 39–42.

[357] *Беломорско-Балтийский канал*. С. 17.

[358] Weiner. *Nature, Nurture and Memory in a Socialist Utopia*.

[359] Герлинг-Грудзинский. С. 23–24.

[360] Иванова. *ГУЛАГ в системе тоталитарного государства*. С. 95.

[361] Росси. *Справочник по ГУЛАГу*. С. 409.

смену, согласилась остаться на следующую смену только потому, что глава строительства, майор МВД, сказал заключенным: «Прошу вас, *товарищи»*”[362].

Дегуманизация “политических” имела следствием ясно различимую, а кое-где и катастрофическую перемену в условиях их жизни. ГУЛАГ до 1937 года был, как правило, плохо организован, часто жесток и порой губителен. Случалось тем не менее, что даже политическим заключенным начальство искренне давало возможность “исправиться”. Для работников Беломорканала выпускалась газета с многозначительным названием “Перековка”. В конце пьесы Погодина “Аристократы” происходит “обращение” бывшего вредителя. Флора Липман – дочь уроженки Шотландии, вышедшей замуж за русского, переехавшей в Санкт-Петербург и арестованной за “шпионаж”, побывала в 1934-м в северном лесозаготовительном лагере, где мать отбывала срок, и нашла, что “между заключенными и конвоирами еще сохранялся некий элемент человеческих отношений: КГБ пока что не достиг такой искушенности и психологизма, как несколькими годами позже”[363]. Липман писала со знанием дела: она сама “несколькими годами позже” стала заключенной. В 1937 году отношение к заключенным сильно изменилось – особенно к тем, кого арестовали по 58-й статье за “контрреволюционные” преступления.

В лагерях “политических” переводили с административных, хозяйственных и инженерных работ на общие, что означало тяжелый физический труд на шахте, прииске или лесоповале: “врагу народа” и потенциальному вредителю нельзя было теперь занимать сколько-нибудь ответственную должность. Новый директор “Дальстроя” Павлов лично подписал приказ, предписывающий использовать заключенного геолога И. С. Давиденко только на общих работах, тщательно контролировать его деятельность и ни в коем случае не позволять ему вести самостоятельную работу[364]. В докладной записке, датированной февралем 1939-го, начальник Белбалтлага писал, что проведено “изгнание работников, не внушающих политического доверия”; в частности, от руководства отделами “отстранены бывшие заключенные, судившиеся за контрреволюционные преступления”. На освободившиеся должности “провели выдвижение <…> коммунистов, комсомольцев и проверенных специалистов”[365]. Ясно, что экономической эффективности не придавали теперь в лагерях первостепенного значения.

Лагерные режимы в масштабе всей системы ужесточились не только у “политических”, но и у обычных преступников. В начале 1930-х годов хлебный паек на общих работах мог составлять 1 кг в день даже у тех, кто не выполнял норму на 100 процентов, а у ударников – 2 кг. В основных лагпунктах Беломорканала заключенные получали мясо двенадцать раз в месяц, в остальные дни – рыбу[366]. Но к концу десятилетия гарантированный паек уменьшился в два с лишним раза и составлял теперь 400–450 граммов хлеба, а выполняющие норму получали дополнительно всего 200 граммов. Штрафной паек равнялся 300 граммам[367]. Вспоминая о тех годах на Колыме, Варлам Шаламов писал:

> В лагере для того, чтобы здоровый молодой человек, начав свою карьеру в золотом забое на чистом зимнем воздухе, превратился в доходягу, нужен срок по меньшей мере от двадцати до тридцати дней при шестнадцатичасовом рабочем дне, без выходных, при систематическом голоде, рваной одежде и ночевке в шестидесятиградусный мороз в дырявой брезентовой палатке <…>. Бригады, начинающие золотой сезон и носящие имена своих бригадиров, не сохраняют к концу сезона ни одного человека из тех, кто этот сезон начал,

[362] Leipman. P. 38.

[363] Nordlander. *Capital of the Gulag*.

[364] *ГУЛАГ в Карелии*. С. 160.

[365] Чухин. *Каналоармейцы*. С. 120.

[366] Шмыров. С. 197.

[367] Шаламов. *Колымские рассказы*. Кн. 1. С. 78.

кроме самого бригадира, дневального бригады и кого-либо еще из личных друзей бригадира[368].

Условия ухудшались еще и потому, что росло количество заключенных – кое-где с ошеломляющей быстротой. Политбюро, надо сказать, попыталось подготовиться к этому росту и в 1937 году предписало ГУЛАГу начать сооружение пяти новых лесозаготовительных лагерей в Республике Коми и других лагерей в отдаленных районах Казахстана. Для ускорения этих работ ГУЛАГу был даже выделен аванс в 10 миллионов рублей. Кроме того, наркоматам обороны, здравоохранения и лесной промышленности было приказано немедленно направить в ГУЛАГ 240 офицеров и политработников, 150 врачей, 400 санитаров, 10 опытных специалистов по лесному хозяйству и “50 выпускников Ленинградской лесотехнической академии”[369].

Тем не менее существующие лагеря опять затрещали по швам: повторилось переполнение начала 1930-х. Один бывший заключенный вспоминал, что в Мариинском распредпункте Сиблага, рассчитанном на 250–300 человек, в 1938 году находилось около 17 000 осужденных. Даже если цифра завышена раза в четыре, само преувеличение показывает, насколько остро чувствовалась теснота. Бараков не хватало, и люди рыли землянки, но даже они были так переполнены, что “шагу нельзя было сделать, чтобы не наступить кому-нибудь на руку”. Заключенные отказывались выходить наружу, боясь потерять место на полу. Не хватало мисок, не хватало ложек, к котлам с пищей выстраивались огромные очереди. Началась эпидемия дизентерии, от которой многие умерли.

Позднее на партактиве Сиблага начальство, распекая подчиненных, поминало “страшные уроки 38-го года, когда потери дней сводились к астрономическим цифрам”[370]. Согласно официальным данным, по всем лагерям с 1937 по 1938 год “процент умерших к среднесписочному” вырос более чем вдвое. Локальная статистика имеется не везде, но можно предполагать, что в отдаленных северных лагерях – на Колыме, в Воркуте, в Норильске, – куда в больших количествах отправляли “политических”, смертность была намного выше[371].

Но заключенные гибли не только от недоедания и непосильной работы. В новой атмосфере отправка “врагов” в лагерь быстро стала казаться недостаточной мерой: лучше избавляться от них совсем. 30 июля 1937 года НКВД издал приказ “Об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов”, содержавший квоты на расстрел, помимо прочего, для лагерей НКВД[372]. 16 августа 1937 года Ежов подписал другой приказ, предписывавший расстреливать заключенных, которые содержались в тюрьмах Главного управления государственной безопасности (ГУГБ). Он потребовал “с 25 августа начать и в двухмесячный срок закончить операцию по репрессированию наиболее активных контрреволюционных элементов, <…> осужденных за шпионскую, диверсионную, террористическую, повстанческую и бандитскую деятельность, а также членов антисоветских партий”[373].

К “контрреволюционерам” он добавил “бандитов и уголовные элементы” на Соловках, которые в 1937-м были превращены в спецтюрьму ГУГБ. Для Соловков была установлена квота: расстрелять 1200 заключенных. Очевидец вспоминал день, когда забирали некоторых из них:

---

[368] Труд. № 88. 4 июня 1992 года (перепечатано в Getty and Naumov, p. 479–480); Н. А. Морозов, разговор с автором, июль 2001 г.

[369] Папков. С. 53–54.

[370] *ГУЛАГ: Главное управление лагерей*. С. 441; ГАРФ, ф. 9414, материалы ОУРЗ ГУЛАГа.

[371] Приказ НКВД СССР № 00447 проанализировали Н. Петров и А. Рогинский в статье ""Польская операция" НКВД 1937–1938 гг." (*Репрессии против поляков и польских граждан*. С. 22–43).

[372] *Мемориальное кладбище Сандормох*. С. 3 и 160–167 (здесь собраны документы, касающиеся расстрелов в урочище Сандормох). Дата приказа НКВД о ликвидации заключенных – 16 августа 1937 года – приведена в Binner, Junge, and Martin.

[373] Бродский Ю. С. 472.

> В конце октября неожиданно выгнали всех обитателей открытых камер кремля на генеральную поверку. На поверке зачитали огромный список – несколько сотен фамилий – отправляемых в этап. Срок подготовки – два часа. Сбор на этой же площади. Началась ужасная суета. Одни бежали укладывать вещи, другие – прощаться со знакомыми. Через два часа большая часть этапируемых уже стояла с вещами. В это время из изоляторов вывели колонны заключенных с чемоданами и рюкзаками…[374]

Есть сведения, что некоторые взяли с собой ножи и перед расстрелом в урочище Сандормох в Северной Карелии нанесли палачам раны. После этого всех, кого уводили на расстрел, стали раздевать до белья. По результатам операции руководившего ею офицера НКВД наградили ценным подарком. Но прошло несколько месяцев – и его тоже расстреляли[375].

На Соловках заключенных для расстрела выбирали, судя по всему, случайно. Однако в некоторых лагерях начальство воспользовалось возможностью избавиться от особенно "трудных" заключенных. Так, по-видимому, произошло в Воркуте, где многие из отобранных были настоящими троцкистами, а некоторые участвовали в лагерных забастовках и других волнениях. Один очевидец вспоминал, что в начале зимы 1937–1938 года администрация Воркуты поместила примерно 1200 заключенных (главным образом троцкистов и других "политических" плюс небольшое количество уголовников) в здание бездействующего кирпичного завода и большие переполненные палатки. Горячей еды не давали совсем: дневной рацион составляли 400 граммов черствого хлеба[376]. Так их держали до конца марта, когда из Москвы приехала новая группа офицеров НКВД. Они сформировали "специальную комиссию". Заключенных стали уводить группами по сорок человек. Им говорили, что их перевозят в другое место. Каждому дали кусок хлеба. Люди в палатке слышали, как они уходят, а затем началась стрельба.

В палатках воцарился настоящий ад. Один крестьянин, посаженный за "спекуляцию" (за продажу на базаре собственного поросенка), лежал с открытыми глазами и ни на что не реагировал. "Что общего у меня с вашими политическими?" – стонал он время от времени. Другой заключенный, как утверждает очевидец, покончил с собой. Двое сошли с ума. Когда осталось примерно 100 человек, расстрелы прекратились так же внезапно и необъяснимо, как начались. Люди из НКВД вернулись в Москву. Оставшиеся в живых заключенные вернулись на шахты. Всего в лагере было расстреляно около 2000 арестантов.

Сталин и Ежов не всегда посылали карателей из Москвы. Для ускорения дела НКВД создавал по всей стране "тройки", действовавшие как в лагерях, так и вне их. "Тройка" обычно состояла из начальника областного НКВД, секретаря обкома партии и областного прокурора. Они получили право приговаривать людей заочно без судьи, присяжных, адвоката и судебного процесса[377].

"Тройки" делали свое дело быстро. 20 сентября 1937 года, в ничем не примечательный день, карельская "тройка" вынесла приговор 231 заключенному Белбалтлага. Если, предположим, рабочий день длился десять часов без перерыва, то на решение судьбы одного человека приходилось менее трех минут. В большинстве своем эти люди получили первые сроки гораздо раньше – в начале 1930-х. Теперь их обвинили в новых "преступлениях", которые, как правило, заключались в плохом поведении или отрицательном отношении к лагерной жизни. Среди них были бывшие политзаключенные в классическом смысле слова – меньшевики, анархисты, социал-демократы; бывшая монахиня, которая "отказывалась работать на Советы", и раскула-

---

[374] *Мемориальное кладбище Сандормох*. С. 167–169.

[375] Hoover, Nicolaevsky Collection, Box 233, Folder 23; см. также: Морозов Н. А. *ГУЛАГ в Коми крае.* С. 28.

[376] Conquest. *The Great Terror*. P. 286–287.

[377] Архив ФСБ, Петрозаводск, ф. 42, л. 55–140: Акт заседания тройки НКВД КСС. № 13, 20 сентября 1937 года, в коллекции Юрия Дмитриева, Петрозаводское отделение общества "Мемориал".

ченный, работавший лагерным поваром. Его обвинили в том, что он провоцировал недовольство среди стахановцев. Он якобы специально вначале кормил обычных заключенных, а стахановцев заставлял отстаивать длинные очереди[378].

Истерия длилась не очень долго. В ноябре 1938 года массовые расстрелы как в лагерях, так и по всей стране резко прекратились. Возможно, чистка зашла слишком далеко даже по мнению Сталина. Может быть, просто-напросто поставленные цели были достигнуты. Или же Сталин решил, что по-прежнему некрепкая экономика страны терпит слишком большой ущерб. Так или иначе, в марте 1939 года на партийном съезде он заявил, что в ходе чистки было допущено больше ошибок, чем можно было ожидать[379].

Никто не извинился и не раскаялся, и почти никто не понес наказания. Всего несколько месяцев спустя Сталин разослал всем местным начальникам НКВД циркуляр, где хвалил их за большую работу "по разгрому шпионско-диверсионной агентуры иностранных разведок". Лишь после этого он указал на некоторые "недостатки" – такие как "глубоко укоренившийся упрощенный порядок расследования", отсутствие свидетельских показаний, актов экспертизы, вещественных доказательств[380].

Но чистка внутри самого НКВД прекратилась не полностью. В ноябре 1938 года Николай Ежов, на которого возложили вину за "недостатки", был снят с должности. Позднее его арестовали и расстреляли. Перед казнью, которая совершилась в 1940-м, Ежов попросил передать Сталину, что будет умирать с его именем на устах[381].

Подручные Ежова пострадали вместе с ним, как некоторое время назад – приспешники Ягоды. Евгения Гинзбург, сидевшая в тюрьме, однажды увидела, как надзиратель снимает со стены картонку с тюремными правилами. Потом ее повесили обратно, но резолюция в левом углу "Утверждаю. Генеральный комиссар государственной безопасности Ежов" была теперь заклеена белой бумажкой. Перемены на этом не кончились: "В первый раз заклеили фамилию Вайншток <это был начальник тюрьмы> и заменили ее фамилией Антонов. Во второй раз заклеили и Антонова, а на его месте написали: Главное тюремное управление. «Так-то надежнее, – хохотали мы, – менять не придется»"[382].

Производительность труда в лагерной системе продолжала снижаться. В Ухтпечлаге массовые расстрелы, рост числа больных и ослабевших заключенных и потеря специалистов привели к резкому уменьшению выработки в 1936–1937 годах. В июле 1938 года для обсуждения положения дел в Ухтпечлаге была созвана специальная комиссия ГУЛАГа[383]. Упала и производительность золотых приисков Колымы. Даже громадный приток новых заключенных не позволил поднять количество добываемого золота до уровня, сравнимого с прошлыми годами. Перед самым своим падением Ежов предложил увеличить расходы на модернизацию устаревшей золотодобывающей техники "Дальстроя" – как будто дело было в этом[384].

Между тем начальник Белбалтлага, тот самый, кто хвастался своими успехами в очищении административно-хозяйственного штата лагеря от политзаключенных, теперь жаловался на большую нужду в административном и техническом персонале. Чистка, писал он с осторожностью, безусловно, "оздоровила аппарат" лагеря, но она же и "увеличила недокомплект". Например, в 14-м отделении лагеря содержалось 12 500 заключенных, в том числе неполитических только 657, большей частью осужденных за тяжкие уголовные преступления, что тоже

[378] Conquest. *The Great Terror*. P. 438.
[379] Getty and Naumov. P. 532–537.
[380] Ibid. C. 562.
[381] Гинзбург Е. Т. 1. С. 174.
[382] Морозов Н. А. *ГУЛАГ в Коми крае*. С. 32.
[383] Nordlander. *Capital of the Gulag*. P. 253–257.
[384] *ГУЛАГ в Карелии*. С. 163.

исключало их работу на административно-технических или хозяйственных должностях; 184 из 657 были неграмотны или малограмотны, так что для канцелярской и инженерной работы оставалось максимум 70 человек[385].

В целом, согласно статистике НКВД, объем капитальных работ в лагерях упал с 3,5 млрд рублей, запланированных на 1936-й, до 2 млрд в 1937 году. Уменьшилась и стоимость валовой промышленной продукции – с 1,1 млрд до 945 млн рублей[386].

Низкая доходность и сильнейшая дезорганизованность большинства лагерей, как и рост в них заболеваемости и смертности, не прошли незамеченными в Москве, где на общих и закрытых партийных собраниях ГУЛАГа лагерная экономика обсуждалась чрезвычайно откровенно. В апреле 1938 года один из ораторов раскритиковал “хаос и безобразие” в лагерях Республики Коми. Он также заявил, что “Норильск спроектирован неправильно, много денег затрачено впустую”. А вот слова другого руководителя: “Успехами ГУЛАГ не может гордиться, особенно по лесу. При тех затратах, которые мы сделали, мы могли бы иметь больше. <…> Наши лагеря организовывались без системы, некоторые капитальные здания построены на болоте, их теперь переносят”.

К апрелю 1939 года критика усилилась. В северных лагерях, по словам одного участника собрания, сложилось исключительно тяжелое положение с продовольствием. “Это привело к тому, что огромный процент слабосилки там имеется, огромный процент категории неработающих, большой процент смертности, болезней и т. д.”[387] В том же году Совнарком признал, что до 60 процентов лагерников страдает пеллагрой и другими болезнями, связанными с плохим питанием[388].

Разумеется, Большой террор не был единственным виновником этих бед. Как уже отмечалось, даже лесозаготовительные лагеря Френкеля, которыми так восхищался Сталин, никогда не были по-настоящему рентабельными[389]. Труд заключенных всегда был и будет гораздо менее производительным, чем труд свободных людей. Но этот урок еще не был усвоен. После смещения Ежова в ноябре 1938-го его преемник на посту наркома внутренних дел Лаврентий Берия почти сразу принялся менять лагерные режимы и правила, упрощать процедуры с тем, чтобы вернуть лагеря туда, где хотел их видеть Сталин, – в сердцевину советской экономики.

Берия пока еще не понимал, что лагерная система как таковая убыточна и расточительна по природе своей. Он, по-видимому, объяснял недостатки тем, что прежние ее руководители были некомпетентными людьми. Ныне он был полон решимости превратить лагеря в подлинно прибыльную часть советской экономики.

Ни тогда, ни позже Берия не освободил из лагерей сколько-нибудь значительного числа несправедливо осужденных (хотя из тюрем некоторые были выпущены). Ни тогда, ни позже лагеря не стали более гуманными. Дегуманизация “врагов народа” проявлялась в языке конвоиров и лагерного начальства до самой смерти Сталина. Бесчеловечное обращение с “политическими”, да и с осужденными по другим статьям, продолжалось: в 1939 году под пристальным взором Берии заключенные начали работать на урановых рудниках Колымы практически без всякой защиты от радиации[390]. Берия изменил систему только в одном: он приказал лагерным начальникам оставлять больше заключенных в живых и эффективней их использовать.

На практике, хотя новая политика нигде четко не зафиксирована, Берия отменил запрет на привлечение “каэров”, обладающих инженерной, научной или технической квалификацией,

---

[385] Хлевнюк. *Принудительный труд…* С. 79.

[386] Иванова. *ГУЛАГ в системе тоталитарного государства*. С. 105–107.

[387] Nordlander. *Capital of the Gulag*.

[388] Хлевнюк. *Принудительный труд…* С. 74.

[389] Nordlander. *Capital of the Gulag*.

[390] ГАРФ, ф. 9401, оп. 1, д. 4240.

к работе на технических должностях в лагерях. На местах, однако, лагерные начальники по-прежнему опасались широко использовать “политических” как специалистов, и эти опасения сохранились до кончины ГУЛАГа в середине 1950-х. Даже в 1948 году различные подразделения органов госбезопасности все еще спорили о том, допустимо ли такое использование: одни утверждали, что это слишком опасно политически, другие указывали, что лагерям без этого очень трудно обходиться[391]. Хотя Берия не разрешил дилемму полностью, он настойчиво стремился сделать лагеря НКВД производительной частью советской экономики и поэтому не мог согласиться с тем, чтобы *все* видные ученые и инженеры ГУЛАГа теряли конечности, отмораживая их на общих работах в северных лагерях. В сентябре 1938 года он начал создавать так называемые *шарашки* – мастерские и научные лаборатории, где работали заключенные специалисты. Солженицын, побывавший в такой шарашке, описал одну из них – “особый таинственный номерной научно-исследовательский институт” – в романе “В круге первом”:

> В старое здание подмосковной семинарии, загодя обнесенное колючей проволокой, привезли полтора десятка зэков, вызванных из лагерей. <… > Шарашка тогда еще не знала, что ей нужно исследовать, и занималась распаковкой многочисленных ящиков, притянутых тремя железнодорожными составами из Германии; захватывала удобные немецкие стулья и столы; сортировала устаревшую и доставленную битой аппаратуру…[392]

В документах НКВД шарашки назывались “особыми конструкторскими бюро”, и с некоторого момента ими ведал 4-й спецотдел НКВД. Всего в них работало около 1000 человек. В некоторых случаях Берия лично выискивал в лагерях талантливых ученых и приказывал доставить их в Москву. Их отводили в баню, стригли, брили, давали им отдых, а затем отправляли работать в тюремные лаборатории. В числе самых важных “находок” Берии был авиационный инженер Туполев. Он прибыл в шарашку с вещмешком, в котором лежали пайка хлеба и несколько кусочков сахара, и не хотел расставаться с этими запасами даже после того, как ему сказали, что кормить теперь будут лучше.

Туполев, в свой черед, дал Берии список других арестованных специалистов. В их числе были ведущий советский конструктор реактивных двигателей Валентин Глушко и будущий создатель спутников, основоположник всей советской космической программы Сергей Королев. О Королеве сидевшие с ним заключенные вспоминали, что он вернулся на Лубянку после семнадцати месяцев на Колыме истощенный и измученный, цинга лишила его многих зубов[393]. Тем не менее в отчете 4-го спецотдела, подготовленном в августе 1944 года, перечислены двадцать важных технических новинок в военной области, спроектированных в шарашках. Некоторые из этих новых видов оружия уже использовались на фронтах Второй мировой войны[394].

Кое в чем правление Берии принесло облегчение и рядовым зэкам. Нормы питания в целом временно увеличились. Как Берия указал в апреле 1938 года, лагерная норма в 2000 калорий в день была в свое время установлена для людей, сидящих в тюрьме и не работающих. На деле даже этот скудный рацион уменьшается на 30–35 процентов из-за воровства, обмана и наказаний за низкие трудовые показатели. Поэтому многие заключенные голодают. Берия выразил об этом сожаление – не потому что он им сочувствовал, а потому что высокая заболеваемость и смертность могли помешать НКВД выполнить производственный план на 1939 год. Берия попросил утвердить новые нормы питания с тем, чтобы “физические воз-

[391] Солженицын. *В круге первом*. Кн. 1. С. 29 и 33.

[392] Голованов; Райзман. С. 21–23.

[393] Кокурин. *Особое техническое бюро НКВД СССР*.

[394] Хлевнюк. *Принудительный труд…* С. 79.

можности лагерной рабочей силы можно было использовать максимально на любом производстве”[395].

Хотя нормы были повышены, нельзя сказать, что при Берии к заключенным стали относиться человечнее. Наоборот, было сделано еще несколько шагов по пути превращения арестантов из людей в “рабочие единицы”. В лагере их по-прежнему могли расстрелять, но теперь уже не только за контрреволюционные настроения, но и за отношение к работе. Тем, кто прогуливал, отказывался работать или активно дезорганизовывал общий труд, грозили “суровые меры принуждения: усиленный лагерный режим, карцер, худшие материально-бытовые условия и другие меры дисциплинарного воздействия”. “Отказчику” могли вынести новый приговор – вплоть до расстрела[396].

Местные прокуроры немедленно начали заниматься случаями отказа. Например, в августе 1939 года за отказ от работы и соответствующую агитацию среди других заключенных один лагерник был расстрелян. В октябре три содержавшиеся в лагере женщины, по всей видимости православные, были обвинены в отказе от работы и в пении под видом религиозных стихов “контрреволюционных песен”. Двух из них расстреляли, третьей дали новый срок[397].

Три года Большого террора оставили и другой след. С этих пор никогда ГУЛАГ не рассматривал заключенного как человека, способного к исправлению. Система досрочного освобождения за хорошее поведение была отменена. Ей положил конец сам Сталин своим единственным известным нам публичным вмешательством в повседневную жизнь лагерей. Выступая в 1938 году на заседании Президиума Верховного Совета, он сказал:

> Нельзя ли придумать какую-нибудь другую форму оценки их работы – награды и т. д.? Мы плохо делаем, мы нарушаем работу лагерей. Освобождение этим людям, конечно, нужно, но с точки зрения государственного хозяйства это плохо. <…> Будут освобождаться лучшие люди, а оставаться худшие[398].
>
> Указ по этому вопросу был утвержден в июне 1939 года. Несколько месяцев спустя тем же указом было отменено условно-досрочное освобождение для инвалидов. Соответственно, возросло количество больных заключенных. Главными стимулами для хорошей работы в лагерях должны были стать “улучшенное снабжение и питание”, а также денежные и иные награды, которые Сталин считал такими привлекательными для арестантов. В частности, в 1940 году был учрежден нагрудный значок “Отличнику дальстроевцу”[399].
>
> Некоторые из этих нововведений были откровенно противоправны и встретили определенное сопротивление. Генеральный прокурор Вышинский и нарком юстиции Рычков были против как отмены досрочного освобождения, так и смертной казни за “дезорганизацию лагерной жизни”. Но Берию, как ранее Ягоду, явно поддерживал Сталин, и точка зрения Берии возобладала. НКВД, помимо прочего, получил право с 1 января 1940 года снять всех заключенных с объектов других ведомств (летом 1939-го их насчитывалось около 130 000). Берия был твердо намерен сделать ГУЛАГ подлинно прибыльным[400].

---

[395] Там же. С. 79–80; ГАРФ, ф. 7523, оп. 67, д. 1.

[396] ГАРФ, ф. 9414, оп. 1, д. 24, 25.

[397] ГАРФ, ф. 7523, оп. 67, д. 1.

[398] ГАРФ, ф. 8131, оп. 37, д. 356; ф. 7523, оп. 67, д. 2.

[399] Knight. *Beria.* P. 105–106.

[400] Хлевнюк. *Принудительный труд*… С. 80.

Нововведения Берии поразительно быстро дали отдачу. В последние месяцы перед Второй мировой войной экономическая активность НКВД снова начала расти. В 1939 году план капитальных работ в системе НКВД составлял 4,2 млрд рублей, в 1940-м – 4,5 млрд. В годы войны, когда приток заключенных увеличился, эти цифры росли еще быстрее[401]. Согласно официальной статистике, смертность в лагерях уменьшилась с 5 процентов в 1938 году до 3 процентов в 1939 году, хотя количество заключенных продолжало увеличиваться[402].

Лагерей теперь было гораздо больше, чем раньше, и они были намного крупнее, чем в начале десятилетия. С 1 января 1935 года по 1 января 1938-го число заключенных почти удвоилось (с 950 000 оно выросло до 1,8 млн). Еще миллион человек находился в ссылке[403]. Лагеря, состоявшие из нескольких хибар, обнесенных колючей проволокой, превратились в настоящих промышленных гигантов. Севвостлаг, главный лагерь “Дальстроя”, в 1940 году насчитывал почти 200 000 заключенных[404]. В угледобывающем Воркутлаге, развившемся из “Рудника № 1” Ухтпечлага, в 1938 году было 15 000 заключенных; в 1951-м их стало уже более 70 000.

Возникли и новые лагеря. Возможно, самым суровым из них стал заполярный Норильлаг, расположенный на богатейшем месторождении никеля – вероятно, крупнейшем в мире. Заключенные Норильлага не только добывали никель, но и строили Норильский медно-никелевый комбинат и электростанции. Они построили и город Норильск, где жили сотрудники НКВД, руководившие работами на рудниках и заводах. Как и его предшественники, Норильлаг быстро рос. В 1935 году в нем было 1200 осужденных, в 1940-м – 19 500. Самая большая цифра – 68 849 человек – относится к 1952 году[405].

В 1937 году был создан Каргопольлаг в Архангельской области, в 1938-м – Вятлаг в центре России и Краслаг в Красноярском крае. Все они специализировались главным образом на лесозаготовках, но были там и предприятия другого профиля – кирпичные и деревообрабатывающие заводы, мебельные фабрики. Все эти лагеря за 1940-е годы удвоили или утроили количество заключенных, которое к концу десятилетия составляло в каждом примерно 30 000[406].

Были и другие лагеря, которые открывались, закрывались, реорганизовывались так часто, что число заключенных в том или ином году установить довольно трудно. Некоторые – совсем маленькие, созданные ради нужд какого-либо завода, фабрики или стройки. Другие – временные, служившие для строительства автомобильных или железных дорог и прекращавшие существование потом. Чтобы руководить этим большим и сложным хозяйством, ГУЛАГ создал подразделения: Главное управление лагерей промышленного строительства, Главное управление лагерей железнодорожного строительства, Главное управление лагерей лесной промышленности и так далее.

Но изменились не только масштабы. С конца 1930-х годов все лагеря носили чисто производственный характер – никаких больше садов и фонтанов, как в Вишлаге, никакой идеалистической пропаганды вроде той, что сопровождала освоение Колымы, никаких работников из числа заключенных на всех уровнях лагерной жизни. Ольга Васильева, выполнявшая в конце 1930-х и в 1940-е годы административную, инженерную и инспекторскую работу на дорожных стройках ГУЛАГа, вспоминала, что в ранний период “меньше было охраны, меньше было оперативников, меньше обслуги <…> В 1930-х годах многих заключенных при-

[401] Земсков. *Заключенные…* С. 63; Bacon. P. 30.

[402] Земсков. *Архипелаг ГУЛАГ…* С. 6–7; Bacon. P. 30.

[403] *Система ИТЛ в СССР.* С. 308.

[404] Там же. С. 338–339.

[405] Там же. С. 200–201, 191–192, 303.

[406] Васильева. Интервью, взятое автором.

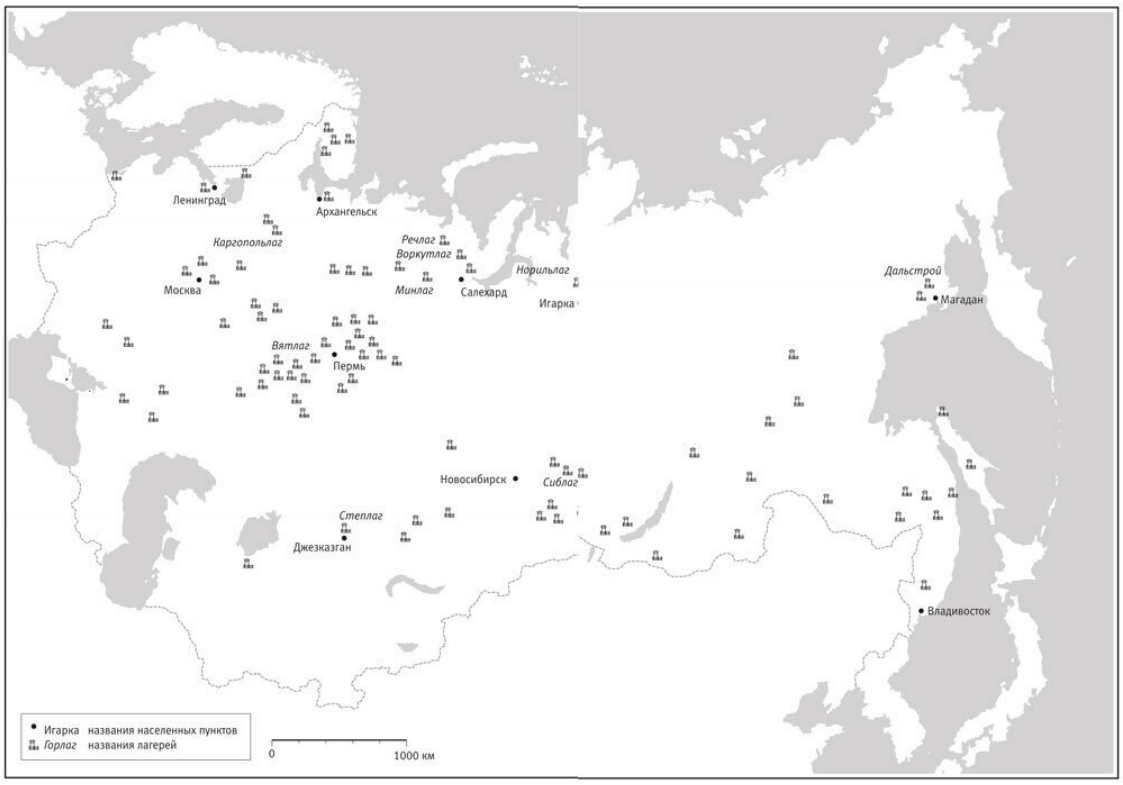
влекали на всякие работы – писарем, парикмахером, охрана была из заключенных”. Однако в конце 1930-х и в 1940-е годы положение изменилось: “Все это приобрело массовый характер <…> раньше было мягче <…> чем больше лагеря расширялись, чем больше начались события ближе к 1937 году, тем больше режим ужесточался”[407].

Можно сказать, что к концу 1930-х годов советская лагерная система приобрела законченную форму. К тому времени она присутствовала почти во всех республиках, краях и областях Советского Союза, во всех его двенадцати часовых поясах. Любой крупный населенный пункт – от Актюбинска до Якутска – теперь имел свой собственный лагерь или колонию. Труд лагерников использовался во всевозможном производстве – от изготовления детских игрушек до строительства военных самолетов. Во многих местах Советского Союза 1940-х годов трудно было, идя по своим повседневным делам, не встретить заключенных.

Что еще более важно, лагеря изменились качественно. Это была уже не совокупность отдельных строек и предприятий, управляемых в каждом случае по-своему, а полноценный “лагерно-производственный комплекс” со своими внутренними правилами и обычаями, с особой внутрилагерной системой распределения и иерархией. Громадный бюрократический аппарат, тоже выработавший свою специфическую “культуру”, управлял обширной империей ГУЛАГа из Москвы. Центр постоянно посылал на места директивы, касающиеся как общей политики, так и частностей. Хотя отдельно взятые лагеря не всегда исполняли инструкции в точности (порой это было просто невозможно), импровизация раннего ГУЛАГа навсегда ушла в прошлое.

Судьбы заключенных были все еще подвержены колебаниям: на них воздействовали политика, экономика и прежде всего ход Второй мировой войны. Однако эпоха проб и экспериментов была позади. Система сформировалась. Все то, что заключенные называли “мясорубкой”: арест, допрос, перевозка, питание, работа, – к началу 1940-х годов обрело незыблемые очертания. По существу здесь очень мало что изменилось до смерти Сталина.

[407] Термин "лагерно-производственный комплекс" использовали М. Б. Смирнов, С. П. Сигачев и Д. В. Шкапов в предисловии к справочнику "Система ИТЛ в СССР".



ГУЛАГ в годы расцвета. 1939–1953 годы

Часть вторая
Жизнь и труд в лагерях

Глава 7
Арест

Мы никогда не спрашивали, услыхав про очередной арест: "За что его взяли?", но таких, как мы, было немного. Обезумевшие от страха люди задавали друг другу этот вопрос для чистого самоутешения: людей берут за что-то, значит, меня не возьмут, потому что не за что! Они изощрялись, придумывая причины и оправдания для каждого ареста, – "Она ведь действительно контрабандистка", "Он такое себе позволял", "Я сам слышал, как он сказал…" И еще: "Надо было этого ожидать – у него такой ужасный характер", "Мне всегда казалось, что с ним что-то не в порядке", "Это совершенно чужой человек" <…> Вот почему вопрос "За что его взяли?" – стал для нас запретным. "За что? – яростно кричала Анна Андреевна, когда кто-нибудь из своих, заразившись общим стилем, задавал этот вопрос. – Как за что? Пора понять, что людей берут ни за что…"
Н. Я. Мандельштам. Воспоминания

Анна Ахматова – поэтесса, процитированная выше вдовой поэта, – была и права и не права. С одной стороны, с середины 1920-х годов, когда аппарат советской репрессивной системы сформировался, власть уже не хватала людей на улице и не бросала их в тюрьмы без всяких объяснений: были арест, следствие, суд и приговор. С другой стороны, "преступления", за которые людей арестовывали, судили и приговаривали, были полностью надуманными, а процедуры следствия и суда – абсурдными, даже сюрреалистическими.

Охватывая советскую лагерную систему ретроспективным взглядом, понимаешь, что это была одна из ее специфических черт: большую часть заключенных поставляла в нее судебная машина, пусть и весьма необычная. Евреев в оккупированной нацистами Европе никто не судил и не приговаривал; между тем подавляющее большинство советских лагерников проходило через следствие (пусть оно и было поверхностным) и суд (пусть он и был фарсом), который выносил приговор (пусть это и занимало меньше минуты). Сотрудниками карательных органов, как и надзирателями и лагерным начальством, от которых позднее зависела жизнь арестованного, несомненно, двигала, помимо прочего, убежденность в том, что все делается по закону.

Но повторяю: из того, что репрессивная система была по видимости судебной, не следует, что она была подчинена стройной логике. Наоборот: в 1947 году было не легче, чем в 1917-м, предсказать хоть сколько-нибудь определенно, кого арестуют, а кого нет. Правда, можно было определить, кто находится *под угрозой* ареста. Выбор жертвы – особенно на гребне террора – отчасти диктовался тем, что человек по той или иной причине попадал в поле зрения "органов": сосед услышал его рискованную шутку, начальник донес о его "подозрительном" поведении; однако еще более важна была принадлежность к той или иной из категорий населения, которые в тот момент находились под ударом.

Некоторые из этих категорий были более или менее четко очерчены (в конце 1920-х – инженеры и специалисты, в 1931-м – кулаки, во время Второй мировой войны – поляки и прибалтийцы с оккупированных территорий); другие имели очень расплывчатые границы. К при-

меру, в 1930-е и 1940-е годы под неизменным подозрением находились граждане других стран и люди, имевшие те или иные связи с заграницей, подлинные или мнимые. Независимо от их поведения им всегда угрожал арест; особенному риску подвергались иностранцы, каким-либо образом выделявшиеся из общей массы. Роберт Робинсон, один из нескольких американских коммунистов негритянского происхождения, поселившихся в Москве в 1930-е годы, позднее писал: "Все известные мне чернокожие, ставшие в начале 1930-х советскими гражданами, исчезли из Москвы в течение семи лет"[408].

Дипломаты не были исключением. Американский гражданин Александр Долган, занимавший одну из младших должностей в американском посольстве в Москве, пишет в мемуарах, как в 1948 году его арестовали на улице и несправедливо обвинили в шпионаже. Подозрение пало на него отчасти потому, что он, будучи молодым человеком, любил уходить от "хвостов" НКВД; кроме того, шоферы посольства, поддаваясь на его уговоры, иногда давали ему на время машины. В результате "органы" решили, что должность не отражает его истинного занятия. Он провел в лагерях восемь лет и вернулся в США только в 1971 году.

Часто жертвами становились иностранные коммунисты. В феврале 1937 года Сталин зловеще сказал генеральному секретарю исполкома Коминтерна Георгию Димитрову: "Все вы там, в Коминтерне, работаете на руку противнику". Из 394 членов исполкома на январь 1936 года на свободе к апрелю 1938-го остался только 171 человек. Остальных либо расстреляли, либо отправили в лагеря. Среди них были люди многих национальностей – немцы, австрийцы, югославы, итальянцы, болгары, финны, прибалтийцы, даже англичане и французы. Непропорционально сильно пострадали евреи. Сталин уничтожил больше членов политбюро Компартии Германии, чем Гитлер: из шестидесяти восьми немецких коммунистических лидеров, эмигрировавших в СССР после прихода нацистов к власти, сорок один погиб либо от пули, либо в лагерях. Еще больший урон, судя по всему, понесла Компартия Польши. Согласно одной оценке, весной и летом 1937 года было казнено 5000 польских коммунистов[409].

Но иностранными коммунистами дело не ограничилось: Сталин жестоко обошелся с иммигрантами вообще. Возможно, самой многочисленной их группой были 25 000 "американских финнов". Некоторые из них родились в США, другие эмигрировали в эту страну; во время Великой депрессии 1930-х годов эти люди переехали в СССР. Большую их часть составляли рабочие, многие были в США безработными. Обманутые советской пропагандой (среди финноязычных американцев работали советские вербовщики, расхваливавшие условия жизни и возможности трудоустройства в Советском Союзе), они потянулись в советскую Карелию. Почти сразу они создали трудности для властей. Карелия, как выяснилось, имела очень мало общего с Америкой. Многие громко возмущались, затем пытались вернуться в США – и в конце 1930-х оказались в ГУЛАГе[410].

Неменьшим подозрением были окружены советские граждане, имевшие связи с заграницей, прежде всего члены "национальных диаспор" – поляки, немцы, карельские финны, у которых были за рубежом знакомые и родственники, а также разбросанные по СССР прибалтийцы, греки, иранцы, корейцы, афганцы, китайцы и румыны. Согласно архивам НКВД, с июля 1937 года по ноябрь 1938 года было осуждено 335 513 представителей "подозрительных национальностей"[411]. Подобные кампании, как мы увидим, проводились и позже – во время войны и после нее.

Чтобы попасть под подозрение в шпионаже, вовсе не обязательно было говорить на иностранном языке. Опасна была любая связь с зарубежным миром. Арестовывали филателистов,

---

[408] Robinson. P. 13.

[409] Agnew and Mcdermott. P. 145 и 143–149.

[410] Gelb.

[411] Martin. *The Affirmative Action Empire.* P. 328–343.

эсперантистов, тех, кто переписывался с заграничными знакомыми, тех, у кого были “там” родственники. Всех советских граждан, работавших на Китайско-Восточной железной дороге, которая была проложена через Маньчжурию еще в царские времена, арестовали и обвинили в шпионаже в пользу Японии. В лагерях их называли харбинцами, поскольку многие из них жили в Харбине[412]. Роберт Конквест пишет об аресте оперной певицы, танцевавшей на официальном приеме с японским послом, и ветеринара, лечившего собак иностранцев[413].

К концу 1930-х годов рядовые советские граждане в большинстве своем поняли, что к чему, и стали избегать любого общения с иностранцами. Хорватский коммунист Карло Стайнер, женившийся на русской, вспоминал: “Русские редко отваживались вступать в личное общение с иностранцами. <…> Родственники жены оставались для меня по существу чужаками. Никто из них не осмеливался прийти к нам в гости. Когда ее родные узнали о нашем намерении пожениться, все они предостерегали Соню…”[414] Даже в середине 1980-х, когда я в первый раз приехала в Советский Союз, многие русские относились к иностранцам настороженно – избегали их.

Впрочем, не всех иностранцев арестовали и не все обвиненные в связях с заграницей действительно имели такие связи. Случалось, что людей забирали по гораздо более специфическим причинам[415]. Поэтому на вопрос “За что?”, которого так не любила Анна Ахматова, можно было получить поразительно разнообразные ответы.

Поэт Осип Мандельштам, муж Надежды Мандельштам, был арестован за стихотворение о Сталине:

Мы живем, под собою не чуя страны,
Наши речи за десять шагов не слышны,
А где хватит на полразговорца, –
Там припомнят кремлевского горца.

Его толстые пальцы, как черви, жирны,
А слова, как пудовые гири, верны.
Тараканьи смеются усища,
И сияют его голенища.

А вокруг его сброд тонкошеих вождей,
Он играет услугами полулюдей.
Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет,
Он один лишь бабачит и тычет.

Как подковы кует за указом указ –
Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз.
Что ни казнь у него, – то малина
И широкая грудь осетина.

Татьяну Окуневскую, популярную советскую киноактрису, арестовали, как она считала, за отказ стать любовницей Виктора Абакумова, возглавлявшего с 1943 года советскую контрразведку. Чтобы она поняла истинную причину, ей, утверждает она, показали лист бумаги

[412] *Невозможно молчать*. С. 297–304.
[413] Conquest. *The Great Terror*. P. 271–272.
[414] Stajner. P. 33.
[415] Martin. *Stalinist Forced Relocation Policies*.

с надписью “Вы подлежите аресту” и подписью Абакумова[416]. Четверо известных футболистов и тренеров – братья Старостины, арестованные в 1942-м, пострадали, по их мнению, из-за успехов их команды “Спартак”, раздражавших Лаврентия Берию, который болел за “Динамо”[417].

Но можно было и не быть известным человеком. Людмилу Хачатрян арестовали за то, что она вышла замуж за иностранца – югославского военного. Лев Разгон пишет о крестьянине Серегине, который, узнав об убийстве Кирова, сказал: “Ну и фуй с ним”. Серегин никогда не слышал о Кирове и решил, что кто-то погиб в драке в соседней деревне. За эту ошибку ему дали десять лет[418]. В 1939 году можно было получить лагерный срок за шутку о Сталине; за то, что кто-то пошутил о нем при тебе; за опоздание на работу; за то, что запуганный знакомый или завистливый сосед назвал тебя “соучастником” несуществующего заговора; за то, что у тебя четыре коровы, а у большинства твоих односельчан по одной; за кражу пары обуви; за родство с женой Сталина; за то, что ты взял на работе ручку и немного бумаги и отдал школьнику, у которого не было ни того ни другого. По постановлению 1940 года родственники человека, попытавшегося совершить побег за границу, подлежали аресту, знали они об этой попытке или нет[419]. Законы военного времени, каравшие человека за опоздание на работу и запрещавшие переход с одной работы на другую, создавали, как мы увидим, дополнительный контингент “преступников”.

Многообразны были не только причины, но и способы ареста. Некоторые жертвы не испытывали недостатка в предостережениях. В течение нескольких недель до ареста Александра Вайсберга в середине 1930-х сотрудник “органов” неоднократно вызывал его на допрос и раз за разом спрашивал, как он пришел к “шпионской” деятельности. Кто вас завербовал? Кого вы завербовали? На какие иностранные организации вы работаете? “Он много раз задавал одни и те же вопросы и получал от меня одни и те же ответы”[420].

Примерно в то же время Галину Серебрякову, автора книги “Юность Маркса” и жену известного советского деятеля Г. Я. Сокольникова, каждый вечер “приглашали” на Лубянку, заставляли ждать до двух или трех утра, затем допрашивали и отпускали домой в пять утра. Около дома, где она жила, стояли агенты в штатском, а когда она шла куда-нибудь, за ней следовала черная машина. Арест представлялся ей неизбежным, и она пыталась покончить с собой. После нескольких месяцев такой жизни ее действительно арестовали[421].

Во время мощных волн массовых арестов в 1929–1930 годах, когда высылали “кулаков”, в 1937–1938 годах, когда шла чистка в партии, в 1948-м, когда выпущенных брали по второму разу, многие понимали, что скоро придет их очередь, просто потому, что арестовывали всех вокруг. Элинор Липпер, голландская коммунистка, приехавшая в Москву в 1930-е, в 1937 году жила в гостинице “Люкс”, специально предназначенной для зарубежных революционеров. “Каждую ночь из гостиницы исчезало еще несколько человек <…> Утром еще несколько дверей были опечатаны большими красными печатями”[422].

Во времена подлинного ужаса арест порой воспринимался как облегчение. Футбольного тренера Николая Старостина агенты сопровождали несколько недель. В конце концов он разозлился и подошел к одному из них: “Скажите своему начальнику, что, если ему надо что-нибудь узнать, он может пригласить меня к себе”. В момент ареста он испытал не страх, не удивление, не шок, а “тревожное любопытство”[423].

---

[416] Окуневская. С. 227.

[417] Старостин; ГАРФ, ф. 7523, оп. 60, д. 4105.

[418] Разгон. *Непридуманное.* С. 100.

[419] ГАРФ, ф. 9401, оп. 12, д. 253.

[420] Weissberg. P. 16–87.

[421] Серебрякова. С. 12–25.

[422] Lipper. P. 3.

[423] Старостин. С. 62–69.

Но других арест заставал врасплох. Польского писателя Александра Вата, жившего во Львове на присоединенной к СССР территории, пригласили в ресторан, где должна была собраться группа писателей. Он спросил пригласившего, по какому поводу встреча. “Увидите”, – сказали ему. Была инсценирована драка, и его арестовали на месте[424]. Сотрудника американского посольства Александра Долгана окликнул на улице человек, оказавшийся сотрудником “органов”[425]. Актриса Окуневская, когда за ней пришли, лежала с высокой температурой. Она попросила подождать хотя бы дня два, но ей показали ордер с подписью Абакумова и стащили ее по лестнице[426]. Солженицын приводит, возможно, апокрифическую историю о женщине, пригласившей следователя, который за ней ухаживал, в Большой театр. После спектакля “друг” повез ее прямо на Лубянку[427]. Автор лагерных мемуаров Нина Гаген-Торн приводит рассказ женщины, арестованной, когда она снимала с веревки белье в ленинградском дворе; она выскочила в халате, оставив ребенка дома одного. Никакие ее мольбы не помогли[428].

Создается впечатление, что власти нарочно варьировали тактику: одних брали дома, других на улице, третьих на работе, четвертых в поезде. Это предположение подтверждает докладная записка Сталину от Виктора Абакумова, датированная 17 июля 1947 года. Там говорится, что органы стремятся обеспечить “внезапность производства ареста – в целях: а) предупреждение побега или самоубийства; б) недопущение попытки поставить в известность сообщников; в) предотвращение уничтожения уликовых данных”. В некоторых случаях, продолжает Абакумов, “производится секретный арест на улице или при каких-либо других специально придуманных обстоятельствах”[429].

Чаще всего, впрочем, людей арестовывали дома глухой ночью. Во времена массовых арестов страх перед ночным стуком в дверь был повсеместным. Есть старый советский анекдот про мужа и жену, ужаснувшихся, когда ночью в дверь постучали, и облегченно вздохнувших, когда оказалось, что это всего-навсего сосед с вестью о том, что дом горит. Согласно поговорке тех лет, “воры, проститутки и НКВД обычно работают ночью”[430]. Как правило, эти ночные аресты сопровождались обысками, тактика которых тоже не была неизменной. Осип Мандельштам подвергался аресту дважды – в 1934 и 1938 году; его жена так описывает разницу:

> В 38-м никто ничего не искал и не тратил времени на просмотр бумаг. Агенты даже не знали, чем занимается человек, которого они пришли арестовать. Небрежно перевернули тюфяки, выкинули на пол все вещи из чемодана, сгребли в мешок бумаги, потоптались и исчезли, уведя с собой О. М. В 38-м вся эта операция длилась минут двадцать, а в 34-м – всю ночь до утра.

В 1934 году агенты явно знали, что они ищут. Они внимательно просмотрели все бумаги Мандельштама. Старые рукописи откладывали в сторону – их интересовали стихи последних лет. При первом аресте присутствовали понятые, а также знакомый литератор, оказавшийся штатским помощником “органов”. Он весь вечер просидел у Мандельштамов в гостях – видимо, для того чтобы хозяева, “услыхав стук, не успели уничтожить каких-нибудь рукописей”[431]. В 1938-м такие мелочи чекистов уже не заботили.

---

[424] Wat. P. 308–312.

[425] Dolgun. P. 8–9.

[426] Окуневская. С. 227–228.

[427] Солженицын. *Архипелаг ГУЛАГ*. Часть первая. Гл. 1 / *Мал. собр. соч.* Т. 5. С. 16.

[428] Гаген-Торн. С. 58.

[429] Hoover, д. 89, 18/12, Reel 1.994.

[430] Petrov, V. P. 17.

[431] Мандельштам Н. Я. *Воспоминания.* С. 9–15.

Массовые аресты людей той или иной национальности – как, например, в Восточной Польше и Прибалтике, оккупированных Красной армией в 1939–1941 годах, – обычно проходили еще более хаотически. Януша Бардаха, еврейского юношу из польского города Владимира-Волынского, заставили во время одного из таких массовых арестов быть понятым. В ночь на 5 декабря 1939 года группа пьяных энкавэдэшников водила его от дома к дому и забирала людей, подлежавших аресту или высылке. Часть арестованных составляли зажиточные горожане с хорошими связями, чьи фамилии значились в списке, но хватали и беженцев – как правило, евреев, пришедших из оккупированной нацистами Западной Польши в оккупированную советскими войсками Восточную Польшу, – даже не записывая их имена. В одном доме беженцы, пытаясь защититься от ареста, назвали себя членами Бунда – еврейской социалистической организации. Но услышав, что они из Люблина, находившегося тогда по ту сторону границы, начальник посланной НКВД группы (его звали Геннадий) заорал:

> “Поганые перебежчики! Нацистские шпионы!” Дети заплакали, и это разъярило Геннадия еще сильней: “Пусть они заткнутся, не то я сам ими займусь!”
>
> Мать притянула их к себе, но они плакали не переставая. Геннадий схватил мальчика за руки, выдернул из материнских объятий и кинул на пол. “Заткнись, тебе говорят!” Мать голосила. Отец пытался что-то сказать, но только хватал ртом воздух. Геннадий поднял мальчика, подержал, пристально посмотрел ему в лицо и с силой бросил его о стену…

Потом чекисты разгромили дом друзей Бардаха:

> Сбоку была дверь в кабинет доктора Шехтера. Посреди кабинета стоял его потемневший письменный стол красного дерева, и Геннадий пошел прямо к столу. Он провел по гладкому дереву рукой и вдруг в приступе ярости хватил по нему железным прутом. “Буржуазная свинья! Паразиты! Найдем мы вас, найдем, эксплуататоры поганые!” Он бил все сильней и сильней без остановки, оставляя вмятины на деревянной поверхности…

Не найдя Шехтеров, чекисты изнасиловали и убили жену садовника.

Часто такие операции проводили не специально обученные сотрудники НКВД, каким поручали “нормальные” аресты “нормальных” преступников, а конвоиры, сопровождавшие эшелоны с депортируемыми. Насилие вряд ли санкционировалось официально: просто советским военнослужащим при аресте “капиталистов” на буржуазном “Западе” пьянство, буйство и даже изнасилование сходило с рук, как сходило им все это с рук позднее, во время продвижения Красной армии через Польшу и Германию[432].

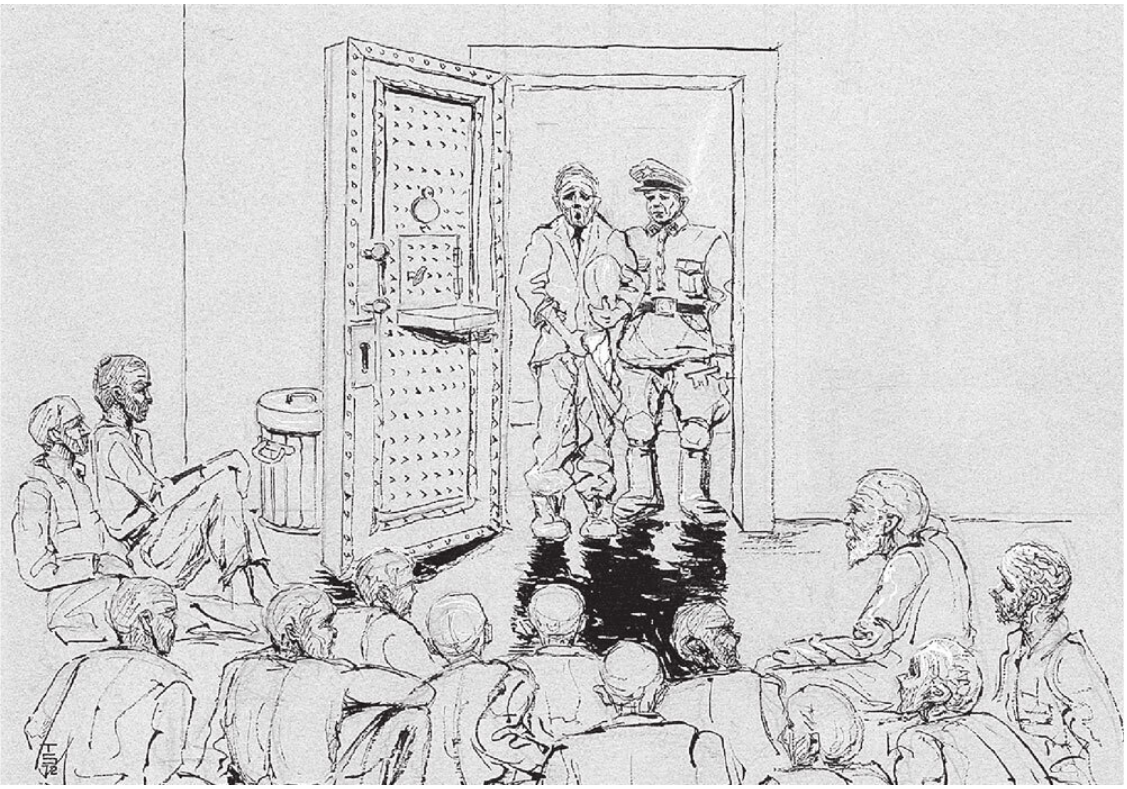
Однако некоторые аспекты поведения арестующих жестко диктовались им сверху. В частности, в ноябре 1940 года Главное управление конвойных войск НКВД СССР постановило, что сотрудники, проводящие арест, должны говорить арестуемым, чтобы они брали с собой запас теплой одежды в расчете на три года: казенной одежды в стране не хватало[433]. Ранее арестующих обычно инструктировали, чтобы они не сообщали людям, куда их увозят, и не создавали у них впечатления, что их увозят надолго. Говорилось примерно следующее: “Не беспокойтесь, ничего с собой не берите. Зададут пару вопросов и отпустят”. Депортируемым иногда говорили, что их просто перемещают в другой район, подальше от границы, для их же защиты[434]. Делалось это для того, чтобы арестанты меньше пугались, не сопротивля-

[432] Naimark. *The Russians in Germany.* С. 69–140.

[433] РГВА, ф. 40, оп. 12, д. 323.

[434] Glowacki. S. 329.

лись, не пытались убежать. В результате люди не брали с собой необходимого, что помогло бы им выжить в условиях сурового климата.



Арестованный входит в свою первую камеру. ***Рисунок Томаса Сговио, законченный после освобождения***

Польским крестьянам, впервые сталкивавшимся с советским режимом и верившим этой лжи, подобная наивность еще простительна; однако точно такие же приемы безотказно действовали на многих московских и ленинградских интеллигентов и партийных работников, уверенных в своей невиновности и в том, что все быстро уладится. Евгении Гинзбург, которая жила в Казани и была женой видного партийного начальника, при аресте сказали, что ее задержат минут на сорок, самое большее на час. В результате она даже не попрощалась с детьми[435]. Партийная работница Елена Сидоркина шла по улице к зданию НКВД с пригласившим ее туда следователем, “мирно разговаривая” с ним и надеясь, что ее отпустят после короткой беседы[436].

Софье Москвиной-Бокий, бывшей жене чекиста Глеба Бокия, при аресте отсоветовали брать с собой пальто: “Зачем? Сейчас тепло, самое позднее – через час мы вернемся обратно”. Это побудило писателя Льва Разгона, приходившегося ей зятем, к размышлению о странной жестокости системы: “Почему надо было немолодую и нездоровую женщину забирать в тюрьму даже без маленького узелка с бельем и туалетными принадлежностями, которые всегда, со времен фараонов, разрешалось брать с собой?”[437]

Жене актера Георгия Жженова, впрочем, хватило здравого смысла дать ему с собой теплые вещи. Когда ее стали уверять, что он скоро вернется, она сказала: “Нет. Кто к вам попадает, скоро не возвращается”[438]. Она была права. Между днем, когда перед арестованным откры-

[435] Гинзбург Е. Т. 1. С. 33–34.

[436] Сидоркина. *Годы под конвоем* // *Доднесь тяготеет*. Вып. 1. С. 290–291.

[437] Разгон. *Непридуманное*. С. 53.

[438] Жженов. С. 44.

валась массивная железная дверь советской тюрьмы, и днем его возвращения домой обычно проходило много лет.

Если способ ареста как такового мог иной раз показаться чуть ли не эксцентрическим, последующие процедуры, напротив, стали к 1940-м годам более или менее стандартными. Каким бы ни был путь будущего заключенного к тюремным воротам, дальше все было крайне предсказуемо. Человека регистрировали и фотографировали, у него брали отпечатки пальцев, причем происходило это, как правило, задолго до того, как ему объясняли, за что он арестован и какова может быть его судьба. Первые несколько часов, а зачастую и несколько дней он не видел никакого начальства, только рядовых надзирателей, которым он был совершенно безразличен, которые понятия не имели о том, что вменяется ему в вину, и на все вопросы отвечали равнодушным пожатием плеч.

У многих создавалось впечатление, что первые часы в тюрьме нарочно обставлены так, чтобы шокировать заключенного, сделать его неспособным к связному мышлению. Вот что ощущала после нескольких часов на Лубянке Инна Шихеева-Гайстер, арестованная как дочь “врага народа”:

> Здесь на Лубянке ты была уже не человек. И вокруг тебя нет людей. Тебя ведет по коридору, фотографирует, раздевает, обыскивает машина. Все делается совершенно безразлично. Ты ищешь человеческий взгляд, я уже не говорю про человеческий голос, человеческий взгляд – его нет. Вот ты вся расхлыснутая стоишь перед фотографом, стараешься как-то запахнуться, а тебе пальцем показывают на табурет, пустой голос произносит: “Анфас”, “Профиль”. И тот же безразличный голос, только женский: “Повернитесь. Поднимите руки. Распустите волосы”. Они в тебе человека не видят. Ты для них вещь. Вещь![439]

Если человека помещали в одну из городских тюрем, а не сажали, как при высылке, сразу на поезд, то он подвергался тщательному обыску, проходившему в несколько этапов. Один документ 1937 года предписывает тюремным надзирателям не забывать, что враг не прекращает борьбу после ареста и может покончить с собой, чтобы скрыть свою преступную деятельность. Поэтому заключенных лишали пуговиц, ремней, поясов, подтяжек, шнурков, резинок – словом, всего, что теоретически могло послужить для самоубийства[440]. У Надежды Иоффе, дочери известного революционера, забрали резинки, пояс от юбки, шнурки от туфель, заколки для волос. Она пишет:

> Помню, как меня поразила унизительность и бессмысленность всего этого. Ну что может сделать человек при помощи заколки для волос? И если даже ему придет в голову бредовая идея повеситься на шнурках от туфель, то как он практически сделает это? Просто нужно поставить его в отвратительно унизительное положение, когда падает юбка, сползают чулки, шлепают туфли[441].

Следовавший за этим личный обыск был еще более тяжелым испытанием. В романе “В круге первом” Солженицын описывает арест дипломата Иннокентия Володина. Через несколько часов после того, как его привезли на Лубянку, каждое отверстие его тела было обследовано:

---

[439] Шихеева-Гайстер. С. 98.

[440] ГАРФ, ф. 9410, оп. 12, д. 3.

[441] Иоффе Н. С. 99.

> Как покупаемой лошади, оттянув Иннокентию нечистыми руками одну щеку, потом другую, одно подглазье, потом другое, и убедившись, что нигде под языком, за щеками и в глазах ничего не спрятано, надзиратель твердым движением запрокинул Иннокентию голову так, что в ноздри ему попадал свет, затем проверил оба уха, оттягивая за раковины, велел распялить пальцы и убедился, что нет ничего между пальцами, еще – помахать руками, и убедился, что под мышками также нет ничего. Тогда тем же машинно-неопровержимым голосом он скомандовал:
>
> – Возьмите в руки член. Заверните кожицу. Еще. Так, достаточно. Отведите член вправо вверх. Влево вверх. Хорошо, опустите. Станьте ко мне спиной. Расставьте ноги. Шире. Наклонитесь вперед до пола. Ноги – шире. Ягодицы – разведите руками. Так. Хорошо. Теперь присядьте на корточки. Быстро! Еще раз!
>
> Думая прежде об аресте, Иннокентий рисовал себе неистовое духовное единоборство с государственным Левиафаном. Он был внутренне напряжен, готов к высокому отстаиванию своей судьбы и своих убеждений. Но он никак не представлял, что это будет так просто и тупо, так неотклонимо. Люди, которые встретили его на Лубянке, низко поставленные, ограниченные, были равнодушны к его индивидуальности и к поступку, приведшему его сюда…[442]

Для женщин такой обыск был еще тяжелее. Одна бывшая лагерница потом вспоминала, что надзирательница “забрала у нас лифчики, пояса с подвязками и другие части женского туалета. За этим последовал краткий, но отвратительный гинекологический осмотр. Я молчала, но чувствовала себя так, словно меня лишили всякого человеческого достоинства”[443].

Т. П. Милютина, в 1941–1942 годах просидевшая двенадцать месяцев в Александровском централе, подвергалась обыску неоднократно. Сокамерниц по пять человек выводили на очень холодную лестничную площадку. Надо было совершенно раздеться, положить одежду на пол и поднять руки. “Конвоир засовывал пальцы в волосы, смотрел в уши, под язык, заставлял, расставив ноги, присесть и подняться. После первого такого обыска все захлебывались слезами, у многих была истерика”, – пишет Милютина[444].

После обыска некоторых арестантов помещали в одиночную камеру. “Уничтожающая идея первых часов тюрьмы, – продолжает Солженицын, – состоит в том, чтобы отобщить новичка от других арестантов, чтоб никто не подбодрил его, чтоб на него одного давило тупеё, поддерживающее весь разветвленный многотысячный аппарат”[445]. В камере, где оказался Евгений Гнедин – советский дипломат, происходивший из семьи революционеров, были только небольшой привинченный к полу столик и два табурета, тоже привинченные к полу. Две откидные полки для спанья днем опускались и составляли часть стены. Все, включая стены, потолок, табуреты и полки, было выкрашено в голубой цвет. Камера, замечает Гнедин, выглядела как “своеобразная каюта парохода”[446].

Многих, как, например, Александра Долгана, на несколько часов или даже на несколько дней после ареста помещали в боксы. Эта была камера размером менее чем полтора на три метра. “Пустой ящик со скамейкой”, – пишет Долган[447]. Польского хирурга Исаака Фогель-

---

[442] Солженицын. *В круге первом* / *Мал. собр. соч.* Т. 2. С. 262–263.

[443] Hoover, Polish Ministry of Information Collection, Box 114, Folder 2.

[444] Милютина. С. 150–151.

[445] Солженицын. *В круге первом* / *Мал. собр. соч.* Т. 2. С. 275.

[446] Гнедин. С. 69.

[447] Dolgun. P. 11.

фангера среди зимы посадили в камеру с окнами без стекол[448]. Других, в частности Любовь Бершадскую, которая позднее участвовала в лагерном восстании в Кенгире, изолировали на весь период следствия. Бершадская, которая провела в одиночке девять месяцев, пишет, что с нетерпением ждала допросов: “Так хотелось с кем-нибудь разговаривать”[449].

Однако переполненная камера могла стать для новичка еще более тяжелым испытанием, чем одиночка. Описание камеры в Бутырской тюрьме, куда попала Ольга Адамова-Слиозберг, приводит на ум картины Иеронима Босха:

> Камера была огромная, сводчатые стены в подтеках, по обе стороны узкого прохода сплошные нары, забитые телами; на веревках сушились какие-то тряпки. Все заволакивал махорочный дым. Было шумно, кто-то ссорился и кричал, кто-то плакал в голос[450].

Другой мемуарист также пытается передать свое потрясение: “Зрелище было ужасное. Длинноволосые бородатые люди, запах пота, и негде даже присесть. Нужно немалое усилие воображения, чтобы представить себе место, где я оказался”[451].

Финка Айно Куусинен, жена известного коммунистического деятеля Отто Куусинена, считала, что ее нарочно сразу поместили туда, где были слышны крики допрашиваемых:

> До сих пор, хотя прошло уже около тридцати лет, мне трудно описывать первую ночь в Лефортово. Камера была расположена так, что все внешние звуки были в ней отчетливо слышны. Позднее я выяснила, что внизу, прямо под стенами моей камеры, стояло низкое строение, безобидно называвшееся “отделением для допросов”. На самом деле это была камера пыток. Оттуда раздавались страшные, нечеловеческие крики, беспрерывные удары плетки. Может ли даже истязаемое животное кричать так страшно, как эти люди, которых избивали часами, с угрозами и руганью?![452]

Но где бы человек ни оказался в первую ночь после ареста – в старой тюрьме царской постройки, в привокзальной кутузке, в переоборудованной церкви или монастырской келье, перед ним стояла насущная, неотложная задача: преодолеть шок, прийти в себя, приспособиться к особым тюремным порядкам и выдержать следствие. От того, как это ему удастся, зависело, в каком состоянии он покинет тюрьму и, в конечном счете, как сложится его жизнь в лагерях.

Из всех стадий, которые проходил арестант на пути к ГУЛАГу, западному человеку, вероятно, легче всего представить себе допрос, поскольку он описан не только в книгах по истории, но и в западной художественной литературе (например, в классическом романе Артура Кестлера “Слепящая тьма”), показан в военных фильмах и отражен в других областях высокой и низкой культуры. Крайнюю жестокость на допросах проявляли гестаповцы и испанские инквизиторы. Тактика тех и других вошла в легенду. “Мы знаем, как развязать тебе язык”, – говорят и нынешние мальчишки, когда играют в войну.

Допросы подозреваемых, конечно, происходят и в демократических, правовых государствах – иногда в соответствии с законом, иногда нет. И за пределами СССР допрашиваемых порой подвергали и подвергают психологическому воздействию и даже пыткам. Тактика “злого и доброго следователя” не только вошла в разные языки как идиома, но и фигурировала

---

[448] Vogelfanger. P. 4–5.

[449] Бершадская. С. 37.

[450] Адамова-Слиозберг. С. 29.

[451] Warwick, Walter. Неопубликованные записки. Я благодарна за этот текст Рубену Раджала.

[452] Miranda v. Arizona, 384 US 436 (1966).

в руководствах для американской полиции (ныне вышедших из употребления). В большинстве стран в те или иные времена допрос сопровождался давлением, и стремление оградить человека от такого давления побудило Верховный суд США постановить в 1966 году в решении по делу “Миранда против штата Аризона”, что подозреваемого надлежит информировать, помимо прочего, о его праве на молчание и на услуги адвоката[453].

Тем не менее допросы, проводившиеся советскими “органами”, уникальны если не методами, то своей массовостью. В некоторые периоды типичное “дело” включало в себя сотни людей, которых арестовывали по всему Советскому Союзу. Показательны для того времени рапорты управления НКВД Оренбургской области, озаглавленные: “Операции по ликвидации подпольных троцкистских групп, а также других контрреволюционных объединений, проведенные в период с 1 апреля по 18 сентября 1937 года”. В рапортах говорится, что за пять месяцев в этой местности было арестовано 420 “троцкистов”, 120 “правых”, “более двух тысяч членов правой военно-японской организации казаков”, “более 1500 офицеров и царских чиновников, сосланных в 1935 году из Ленинграда в Оренбург”, около 250 человек “по так называемому польскому делу”, приблизительно 95 человек “по делу об уроженцах Харбина”, 3290 человек бывших кулаков и 1399 человек “при ликвидации преступных элементов”.

В целом за пять месяцев оренбургские органы НКВД арестовали более 7500 человек, и на тщательное изучение улик у них просто не было времени. Но это было и не важно: расследование каждого из этих “контрреволюционных заговоров” инициировала Москва. Местные органы НКВД просто исполняли ее указания, реализуя спущенные сверху квоты[454].

Из-за большого числа арестов пришлось применять специальные процедуры. Это не всегда вело к большей жестокости. Наоборот, массовость порой означала, что НКВД сводил расследование к минимуму. Человека второпях допрашивали и затем второпях приговаривали; иногда этому предшествовал краткий “суд”. Известный советский военачальник генерал Александр Горбатов вспоминал, что суд над ним длился четыре-пять минут. Были сверены его личные данные и задан единственный вопрос: “Почему вы не сознались на следствии в своих преступлениях?” Приговор – пятнадцать лет[455].

Других не судили вообще: приговор в их отсутствие выносило либо “особое совещание”, либо “тройка”. Так произошло с Томасом Сговио, чье дело “расследовалось” чрезвычайно поверхностно. Он родился в Буффало, штат Нью-Йорк, и приехал в СССР в 1935 году как политэмигрант, поскольку его отца, американского коммуниста итальянского происхождения, за политическую деятельность выслали из США в Советский Союз. За три года, проведенные в Москве, Сговио постепенно разочаровался и решил отправиться домой, для чего попросил вернуть ему американское гражданство, от которого он отказался по приезде в СССР. 12 марта 1938 года, выйдя из американского посольства, он был арестован.

Следственное дело Сговио, фотокопию которого он десятилетия спустя сделал в московском архиве и затем подарил Гуверовскому институту, невелико по объему, что соответствует его воспоминаниям о событиях. Имеется список того, что нашли при нем во время первого личного обыска: профсоюзная книжка, блокнот с адресами и телефонами, читательский билет библиотеки, лист бумаги “с надписями на иностранном языке”, семь фотографий, перочинный нож, конверт с заграничными марками и так далее. Есть бумага за подписью капитана госбезопасности Сорокина, где говорится, что подозреваемый вошел в посольство США 12 марта 1938 года. Есть показания свидетеля о том, что подозреваемый вышел из посольства в 13:15. Имеются также протоколы первоначального расследования и двух кратких допросов; на каж-

---

[453] Miranda v. Arizona, 384 US 346 (1966).

[454] Werth N. *A State against its People: Violence, Repression and Terror in the Soviet Union* / Courtois. P. 193–194; Куртуа С., Верт Н., Панне Ж.-Л., Пачковский А., Бартошек К., Марголен Ж.-Л. *Черная книга коммунизма. Преступления, террор, репрессии*. Пер. с фр. М., 1999. С. 195–196.

[455] Горбатов. С. 127.

дой странице – подписи Сговио и следователя. Первое заявление Сговио гласит: “Я хотел вернуть себе американское гражданство. Три месяца назад я в первый раз пошел в посольство США и подал просьбу о возвращении гражданства. Сегодня я пошел опять. <…> Секретарша сказала мне, что сотрудник, который занимается моим делом, отлучился на обеденный перерыв, и посоветовала прийти через час или два”[456].

Последующие допросы большей частью состояли в том, что Сговио вновь и вновь заставляли рассказывать о подробностях своего визита в посольство. Только один раз от него потребовали: “Расскажите нам все о вашей шпионской деятельности!” Он ответил: “Вы знаете, что я не шпион”, и больше на него, судя по всему, особенно не давили, хотя допрашивающий с неопределенно-угрожающим видом поглаживал кусок резинового шланга, какими обычно избивали заключенных[457].

Хотя сотрудников НКВД дело Сговио не слишком интересовало, они, конечно же, не сомневались в его исходе. Несколько лет спустя, когда Сговио потребовал отмены приговора, прокуратура решила, что, поскольку он не отрицает, что подал в посольство просьбу о возвращении гражданства, для пересмотра дела нет оснований. Признание Сговио в том, что он действительно был в посольстве и хотел покинуть СССР, “особое совещание” сочло достаточным основанием, чтобы приговорить его к пяти годам как “социально опасный элемент”. Его случай был рутинным. Захлестнутые потоком дел следователи ограничились минимумом[458].

Бывали случаи, когда людей сажали с еще меньшими основаниями и допрашивали еще поверхностней. Поскольку тот, кто попадал под подозрение, автоматически считался виновным, людей очень редко отпускали просто так – хоть какой-то срок, но давали. Советский еврей Леонид Финкельштейн, арестованный в конце 1940-х, рассказал мне, что, хотя правдоподобного обвинения в его адрес выдвинуть не смогли, ему все-таки дали сравнительно небольшой семилетний срок: о признании “органами” своей ошибки не могло быть и речи[459]. С. Г. Дурасов вспоминает слова одного из следователей, которые вели его дело: “Мы без вины никого не берем. А если бы даже за тобой и не было вины, выпустить нельзя, будут говорить, без вины берут”[460].

С другой стороны, когда у НКВД возникал интерес, в частности когда интерес возникал лично у Сталина, отношение следователей к людям, взятым в ходе массовых арестов, могло мгновенно измениться от безразличного к злобному. В некоторых случаях от следователей требовали широкомасштабной фабрикации улик, как, например, в 1937 году при “вскрытии и ликвидации” того, что Николай Ежов в закрытом письме назвал “крупнейшей и, судя по всем данным, основной диверсионно-шпионской сетью польской разведки в СССР”[461]. Если вялые допросы Сговио – одна крайность, то массовая операция против этой якобы действовавшей в СССР польской шпионской сети – другая: людей допрашивали с единственной целью – выбить из них признание.

Начало операции положил оперативный приказ НКВД СССР № 00485, в определенном смысле ставший основой и для позднейших массовых арестов. В приказе были четко перечислены категории лиц, подлежащих аресту: все оставшиеся в СССР после войны 1920–1921 годов польские военнопленные; все перебежчики и политэмигранты из Польши; все бывшие члены польских “антисоветских” политических партий; “наиболее активная часть местных антисо-

---

[456] Hoover, Sgovio Collection, Box 3.

[457] Sgovio. P. 69.

[458] Hoover, Sgovio Collection, Box 3.

[459] Финкельштейн. Интервью, взятое автором.

[460] Дурасов. С. 77.

[461] *Репрессии против поляков и польских граждан*. С. 16–17.

ветских националистических элементов польских районов”[462]. На практике под подозрением оказались все живущие в СССР лица польского происхождения, а их было много, особенно в приграничных районах Украины и Белоруссии. Операция приняла такой размах, что польский консул в Киеве, описывая происходящее в секретном отчете, отмечал, что в некоторых населенных пунктах забирали не только всех поляков подряд, но и всех, от директора фабрики до крестьянина, чья фамилия была похожа на польскую[463].

Но арест – это только начало. Поскольку польская фамилия – еще не основание для того, чтобы дать человеку срок, приказ № 00485 предписывал региональным органам НКВД “одновременно с развертыванием операции по арестам вести следственную работу. Основной упор следствия сосредоточить на полном разоблачении организаторов и руководителей диверсионных групп с целью исчерпывающего выявления диверсионной сети”[464].

На практике, как и во многих других последующих “операциях” такого рода, это означало, что арестованные сами должны были под давлением предоставить “улики” против себя. Система была проста. Арестованного поляка спрашивали о его связях в “диверсионной сети”. Получив ответ, что он ни в какой “сети” не участвовал, его избивали или подвергали иным пыткам до тех пор, пока он не “вспоминал” то, что от него требовалось. Ежов, лично заинтересованный в успехе “операции”, присутствовал при некоторых пытках. Если заключенный подавал официальную жалобу на такое обращение, Ежов приказывал подчиненным не обращать на нее внимания и “продолжать в том же духе”. От признавшегося требовали назвать “сообщников”, после чего начинался новый цикл. Так “диверсионная сеть” росла и росла.

За два года в ходе так называемой “польской операции” было арестовано более 140 000 человек, что, по некоторым оценкам, составляет почти 10 процентов от общего числа репрессированных во время Большого террора. При этом пытки и принуждение к самооговору использовались настолько широко, что в 1939 году, когда власти ненадолго смягчили свою политику репрессий, НКВД провел расследование допущенных в отношении поляков “ошибок”. Один подпавший под расследование сотрудник НКВД показал на допросе, что избивать подследственных можно было без ограничений – никаких особых разрешений на это не требовалось. Тем, кто выражал разного рода сомнения, было прямо сказано, что “приказ согласован со Сталиным и Политбюро ЦК ВКП(б) и что нужно поляков громить вовсю”[465].

Хотя позднее Сталин раскритиковал “упрощенный порядок расследования”, есть данные о том, что он лично санкционировал применение подобных методов. В частности, в докладной записке, которую в 1947 году направил Сталину Виктор Абакумов, специально отмечается, что главная задача следователя – “добиться получения от него (арестованного) правдивых и откровенных показаний, имея в виду не только установление вины самого арестованного, но и разоблачение всех его преступных связей, а также лиц, направлявших его преступную деятельность и их вражеские замыслы”[466]. Вопрос о пытках и избиениях Абакумов обходит стороной; однако он пишет, что следователь “изучает характер арестованного” и на этой основе решает, какой режим – легкий или строгий – к нему применить и как эффективнее употребить “метод убеждения с использованием религиозных убеждений арестованного, семейных и личных привязанностей, самолюбия, тщеславия и т. д. <…> Иногда для того, чтобы перехитрить арестованного и создать у него впечатление, что органам МВД все известно о нем, следователь напоминает арестованному отдельные интимные подробности его личной жизни, пороки, которые он скрывает от окружающих, и др.”

---

[462] Там же.

[463] Iwanow. P. 370.

[464] *ГУЛАГ: Главное управление лагерей*. С. 105.

[465] *Репрессии против поляков и польских граждан*. С. 23.

[466] Hoover, c. 89, 18/12, Reel 1.994; Getty and Naumov. P. 530–537.

То, что советские “органы” придавали признанию вины столь большое значение, в прошлом объясняли по-разному, и этот вопрос по-прежнему обсуждается. Некоторые считают, что это шло с самого верха. Роман Бракман, автор неортодоксальной биографии Сталина *The Secret File of Joseph Stalin* (“Секретная папка Иосифа Сталина”), считает, что советский лидер страдал навязчивой идеей, заставлявшей его принуждать заключенных признаваться в преступлениях, которые совершал он сам. По версии Бракмана, Сталин до революции был агентом царской охранки, вследствие чего у него потом развилась потребность добиваться от других людей признаний в предательстве. Роберт Конквест тоже считает, что у Сталина была эта потребность, по крайней мере в отношении тех, кого он знал лично: “Сталину нужно было не только убивать старых противников, но и уничтожать их морально и политически”. Впрочем, это, конечно, относится лишь к единицам из миллионов арестованных.

Но потребность добиваться признательных показаний, судя по всему, испытывали и следователи. Возможно, признания давали им некое ощущение правомерности собственных действий: они помогали им воспринимать безумие массовых произвольных арестов как нечто более гуманное или, по крайней мере, более законное. В операциях, подобных “польской”, признание, кроме того, давало “улики”, необходимые для новых арестов. И еще: советская политико-экономическая система была маниакально сосредоточена на постановке и решении задач, на выполнении плана, нормы, и признание служило конкретным “доказательством” успешно проведенного следствия. Конквест пишет: “Утвердилось представление о том, что признание вины – лучший из возможных результатов. Сотрудников НКВД, которые его добивались, считали передовиками, а отстающий сотрудник НКВД не мог рассчитывать на долголетие”[467].

Каков бы ни был источник сосредоточенности НКВД на признаниях, заключенный чаще всего не испытывал на себе в чистом виде ни той губительной целеустремленности, что видна в деле “польских диверсантов”, ни того безразличия, с каким отнеслись к Томасу Сговио. Обычно налицо была смесь того и другого. Чекисты крайне жестко требовали от подозреваемого порочащих сведений о нем самом и о его знакомых, и они же проявляли наплевательскую незаинтересованность в исходе дела.

Эта довольно-таки сюрреалистическая система просматривается уже в 1920-е годы, когда до Большого террора было еще далеко, и после него она сохранялась достаточно долго. Еще в 1931 году следователь, который вел дело ученого Владимира Чернавина, обвиненного во вредительстве, угрожал ему расстрелом в случае, если он откажется дать признательные показания. Он же в другой момент пообещал Чернавину, если тот сознается, “снисхождение”. Под конец он чуть ли не умолял Чернавина оговорить самого себя: “Я вам скажу прямо, ведь и нам, следователям, приходится часто врать, мало ли мы говорим такого, что в протокол заносить нельзя и чего мы сами никогда не подпишем”[468].

Когда результат имел большее значение, применялась пытка. До 1937 года избиения как таковые были, судя по всему, запрещены. Один бывший сотрудник ГУЛАГа утверждает, что в первой половине 1930-х пытать заключенных, безусловно, не разрешалось[469]. Но стремление получить признания арестованных ведущих членов партии привело к тому, что было взято на вооружение физическое воздействие. По-видимому, это произошло в 1937-м. В 1956 году Никита Хрущев публично заявил: “Но как можно получить от человека признание в преступлениях, которых он не совершал? Только одним способом: применением физических методов воздействия, путем истязаний, лишения сознания, лишения рассудка, лишения человеческого достоинства. Так добывались мнимые «признания»”[470].

---

[467] Conquest. *The Great Terror*. P. 130–131.

[468] Чернавин. С. 149–152.

[469] Наринский. *Воспоминания главного бухгалтера ГУЛАГа*. С. 60.

[470] *Доклад Н. С. Хрущева…* С. 82.

Пытки в тот период применялись так широко и их использование так часто ставилось под сомнение, что в начале 1939 года Сталин направил региональным руководителям НКВД шифровку, где говорилось, что “применение физического воздействия в практике НКВД было допущено с 1937 года с разрешения ЦК ВКП(б)”. Он разъяснял далее, что подобные методы допускаются “…в отношении лишь таких явных врагов народа, которые, используя гуманный метод допроса, нагло отказываются выдать заговорщиков, месяцами не дают показаний, стараются затормозить разоблачение оставшихся на воле заговорщиков”.

С точки зрения Сталина, это вполне допустимый и гуманный метод, хотя порой, возможно, он применяется и к “случайно арестованным честным людям”. Этот зловещий документ безусловно показывает, что Сталин знал, какие приемы используются при допросах, и одобрял их использование[471].

Очень многие из тех, кто побывал под следствием в этот период, пишут, как их били руками и ногами, как им разбивали в кровь лицо, как повреждали внутренние органы. Евгений Гнедин вспоминал, что его одновременно били по голове два человека, один слева, другой справа, и что его затем избивали резиновыми дубинками. Это происходило в тюрьме Сухановке, в кабинете Берии, в его присутствии[472]

[471] Jansen and Petrov.

[472] Гнедин. С. 24–31.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.